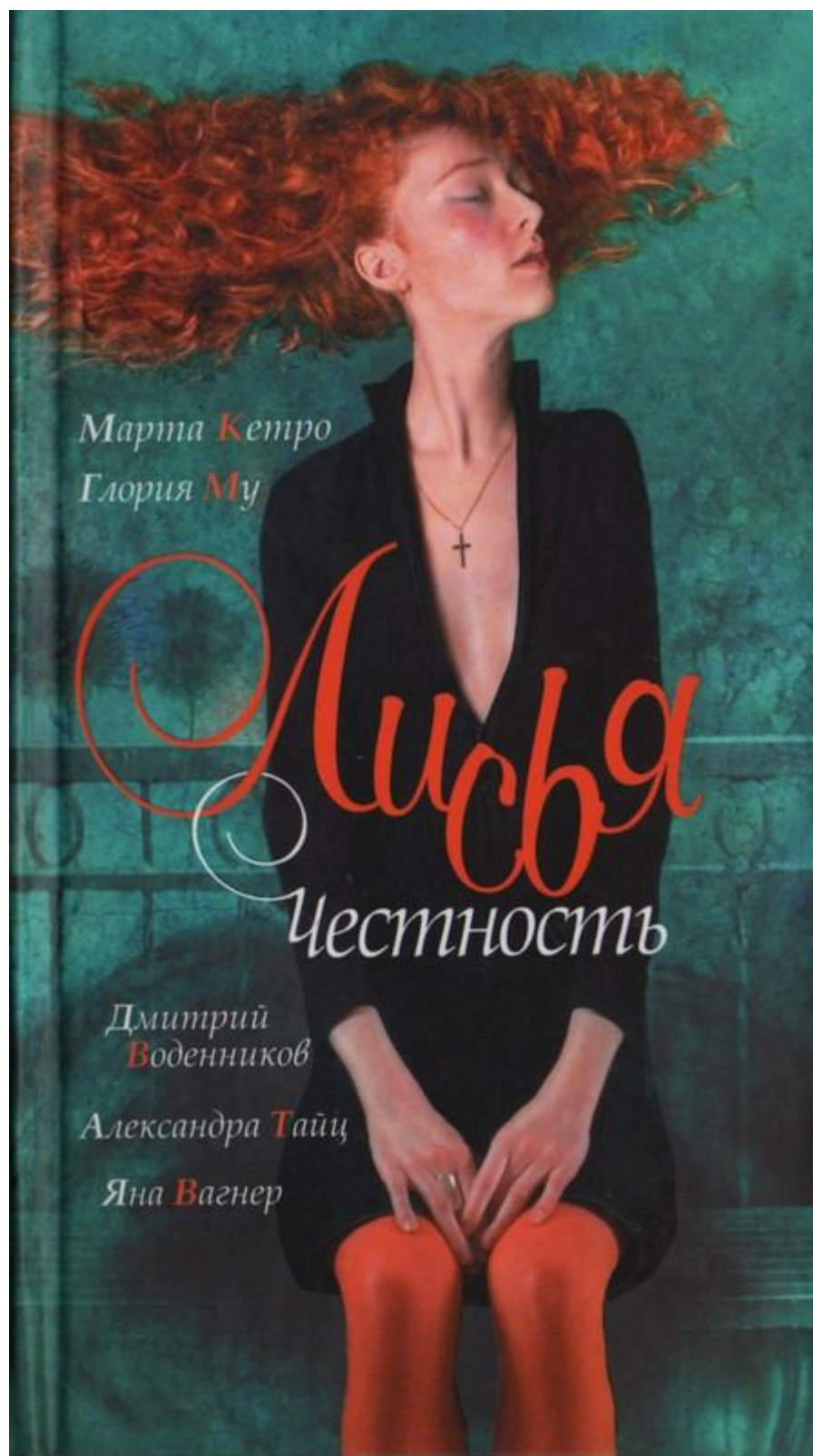


Марта Кетро
Лисья честность



Аннотация

Перед вами книга о загадочных существах, живущих не в своём теле и не свою жизнь. О внутреннем нравственном законе, идущем вразрез с законами внешними. О воображаемых событиях, изменивших материальный мир. О заблудившихся душах, которые пытаются найти себя, но вместо этого встречаются таких же бесприютных бродяг.

Но в этой книге, кроме странствий духа, достаточно телесного, в ней пылает огонь и вспыхивает настоящая страсть. Кроме обманов, здесь есть странная животная верность — та, что заставляет лисицу снова и снова лизать камни, на которые когда-то пролилась её кровь.

Дмитрий Воденников, Марта Кетро, Глория Му, Александра Тайц и Яна Вагнер, каждый по-своему, рассказывают о сложных натурах, живущих по законам лисьей честности.

Жена-лисица

Глава 1

— Один самурай, впавший в немилость, вынужден был уехать из столицы, но жена за ним не последовала. Во время изгнания его увидала лисичка и влюбилась.

— Лисичка?

— Лисица, да. Она приняла обличье его жены и стала с ним жить, даже родила сына. А через год император простил самурая, и настоящая жена тут же к нему приехала. И у него оказались две одинаковые женщины. И он тогда знаешь что сделал? Спросил у каждой, сколько ей лет. Первая ответила — тридцать три, а вторая — тысяча три. И он выбрал ту, которая моложе.

— Почему?

— Мужчина, что с него взять. Сказка длинная, там ещё с этим сыном много чего происходило, но я к тому, что выбирают всегда ту, что моложе.

— Ну и зря. Если какая-нибудь вещь прослужила тысячу лет, так она и ещё послужит.

Я бегу и бегу — по сухой траве, по чёрной земле, по белому снегу Позади следы, впереди чистое поле. Однажды, когда я сделаюсь безупречной, я перестану оставлять следы. Оглянусь, а за мною чистое поле.

Оленька взялась в его жизни ниоткуда. На рассвете сырого осеннего дня он ехал в сторону Москвы, красная машина неслась по серому асфальту, над полями поднимался туман, из которого на дорогу могли выскочить белый конь или заплутавшая корова, но никак не женщина. Да она и не выскакивала, шла по обочине, и он, обгоняя, подумал: «Надо же, и плащ лаковый, и сапоги высокие, а ведь не шлюха». И так удивился этой своей мысли, что притормозил, а потом и вовсе остановился. А почему нет, будто не бывает у шлюх некрашенных каштановых кудряшек, отяжелевших от водяной взвеси, глупых рук, буратинисто машущих в такт решительной прыгающей походке, чуть сутуловатой закрепощенной спины. Но не похожа она была на жертву затянувшегося дачного субботника или выброшенную дальнобойщиком плечевую. Ну и остановился, чтобы рассмотреть. Когда поравнялась, приоткрыл дверцу, стараясь не спугнуть резким движением, и вежливо сказал:

— Доброе утро. Вас подвезти? — и сразу отметил, что она не боится.

Взглянула, помедлила, отвела влажную прядь с лица и кивнула. Потянула на себя ручку задней дверцы, и он, от природы осторожный, позволил ей усестись за спиной —

подбранке, не проронившей ни слова, у которой неизвестно что на уме, вдруг душить кинется или по затылку чем звезданёт. Наоборот, накатило неоправданное веселье, когда представил: вот она замахивается невесть откуда взявшейся огромной мультяшной киянкой или со зверским лицом затягивает на его шее чулок, и костяшки маленьких ручек белеют от напряжения. Подавив смехок, спросил:

— Печку включить?

Но тут же сообразил, что она не замёрзла, несмотря на промозглое утро. Наоборот, разогрелась и слегка вспотела от быстрой ходьбы и теперь пахла тёплым яблоком, будто только что пекла пироги на жаркой кухне. «Старею, — подумал, — если при виде бабы мысли о пирогах». Молчание не тяготило, но отчего-то захотелось поставить ей такую музыку, чтобы кое-что о нём поняла, хоть этого невозможно печального Клэптона. Would you know my name, узнаешь ли ты моё имя, если мы встретимся на небесах, would it be the same, останется ли оно прежним?

Кстати, что за ерунда, надо бы поинтересоваться, как её зовут, а он перебирает в уме слова, и ни одно не годится, чтобы начать пустяшный разговор. Ясно только — расспрашивать, что да как, почему здесь оказалась, нельзя. Нельзя и нельзя, такая уверенность в нём поселилась.

Въехали в город, и она положила свою птичью лапку ему на плечо, одним жестом попросила притормозить у окраинной станции метро. «Вот и всё, — подумал тоскливо, — вот тебе и пироги с яблоками». Пока парковался, избегая луж, она копалась в маленькой сумке на длинном ремне, перекинутом через грудь, как у почтальона. Денег, что ли, хочет дать? Но достала не кошелёк, а карандаш и блокнот, нацарапала что-то, оторвала листок, обстоятельно сложила вчетверо и отдала ему. Выходя, улыбнулась, не то чтобы благодарно, а будто удачи пожелала, как-то заботливо, разве что шарф на нём не поправила, мягко закрыла дверцу и быстро пошла к подземному переходу.

После того как её распушившаяся макушка скрылась из виду, он откинулся на спинку и прикрыл глаза. «Идиот. Одно слово, идиот. Первый раз, что ли, телку на обочине подцепил? Девственник? Нашел, с чего в жар кидаться. Хрен знает, что она там написала, может, «С богом в добрый путь», с такой станется». Ещё глупее было то, в чём даже признаваться себе не хотелось, — он боялся заглянуть в бумажку, боялся, что сейчас увидит бесполезную фразу и тогда ничего уже не останется, кроме пустого утра, мутного дня, пресной ночи и последующей длинной скучной жизни.

Обругав себя короткими понятными словами, развернул листок, целую секунду смотрел, потом резко потянулся к бардачку и зашарил в нём свободной рукой. Нашел синюю ручку и аккуратно обвел цифры — карандаш у неё был мягкий, уже стираться начал. Этого показалось мало, поэтому перерисовал номер в записную книжку, зачем-то копируя заострённые углы семёрки, изящный выгиб единицы и лихой хвост двойки.

«Раз телефон дала, значит, не немая, — обрадовался он, между делом сообразив, что голоса её так и не услышал, — ещё бы узнать, как зовут». Посмотрев внимательнее, заметил на бумаге голубоватые буквы, отпечатанные типографским способом. Листок из именного блокнотика, такие покупают школьницы младших классов, которым повезло зваться не Пелагеями или Анфисами, а Танями, Маринами, Светами или вот Олями, Оленьками.

Он завёл двигатель, резко развернулся, зацепив красным глянцевым боком низкий заборчик, сваренный из тонких труб, но даже скрежет металла о металл не стёр с его лица напряжённую улыбку, мучительную, как на греческой маске. Только минут через десять он случайно, взглянув в зеркало заднего вида, ужаснулся собственному оскалу и с осязательным усилием расслабил мышцы.

За следующие десять лет он узнал о ней многое: что любит и что не любит, какова в постели; смотрел, как она обманывает, хвастает, плачет, злится, радуется; как ест, спит, болеет; видел с косметическими масками на лице, пьяной, сидящей с книжкой на унитазе; помнил и голую, и в вечерних платьях. Но так и не понял, какова природа покоя, который

охватывал его каждый раз, когда она оказывалась рядом, что бы при этом ни происходило.

Подкидыш — это необязательно котёнок или младенец в корзинке, оставленный у порога неизвестным негодяем (потому что бесцеремонная попытка переложить ответственность на чужие плечи — в некотором роде злодейство). Женщина двадцати шести лет вполне может внезапно оказаться подкидышем, которого судьба — не злая и не добрая, безразличная, — отдаст в хорошие руки и уйдёт, не оглядываясь.

Вместо корзинки и пары пелёнок была комната в коммуналке на окраине. Оленька родилась где-то в средней России, а когда мама умерла, переехала в Москву, обменяв, по закону столичной справедливости, приличную квартиру там на гадкую конуру здесь. Никто, даже сама Оленька, не знал, как сложилась бы её дальнейшая жизнь, не встретить она через месяц мужчину на красной машине, Пашу Кнурова, который аккуратно взял её в ладони и перенёс, как птичку или росток с комом земли на корнях, в загородный дом (для верности зафиксировав акт приёма ответственности в ЗАГСе — ну, женившись, проще сказать).

Правда, ехидные соседи, не успевшие почти ничего о ней выяснить, но исполненные здоровой коммунальной ненавистью ко всему живому, прописанному на их площади, злословили, что если бы не Паша на красной машине, был бы какой-нибудь Вася на синей, а вот Сергей Сергеевич на белом «мерседесе» — вряд ли, девка не модельная и не юная, товар лежалый. Но видно же, шепталась Мария Витальевна с Юдифью Львовной, что хватка у неё есть и спокойствия не занимать, все ходы посчитаны. Приехала, а вещей всего ничего: два чемодана и рюкзак, никаких контейнеров следом не пришло. Спала на кровати от прежних хозяев, ела за их кривоногим столом, холодильник новый покупать не спешила — по всему понятно, что задерживаться не планирует, выше метит.

Оленька, как вошла в комнату, села на поскрипывающую тахту и долго рассматривала стену напротив. На бежевых обоях времена года зафиксированы не хуже, чем в календаре: зимой заливали, наверху батарея потекла, угол отсырел, а потом высох и заслоился; весной в подвале комары проснулись, налетели, тут им смерть пришла, одни чёрно-бурые пятна остались; летнее солнце выжгло краски, цвет сохранился только под акварелью, которую прежние жильцы, уезжая, сняли. (Оленьке любопытно, с собой они забрали ту липовую аллею, серо-жёлтую песочную дорожку, косые лучи сквозь листву, которые она запомнила, когда приезжала комнату смотреть, или на помойку вынесли. Много о них стало бы понятно, если узнать точно.) Осень отметилась внизу, у самого пола, где однажды взорвалась банка с вареньем, потому что кое-кто сахару пожалел и не перебрал толком клубнику.

Примерно через час она встала и заглянула в шкаф. Такая договоренность была, что Оленька оставляет в прежней квартире крепкую родительскую мебель, а взамен получает здешнюю рухлядь. Она надеялась найти в ящиках старые документы, фотографии, письма, которые могли бы дать ей новую память и новую семью, но ничего такого не осталось. А своей памяти у Оленьки не было, всё порвала и выбросила ещё там, дома.

Поэтому, когда Паша привёз её к себе, земли на корнях сохранилось совсем мало, он думал, растряслась за два переезда, а её и не было почти. Платье, паспорт, плащ, пальто, по паре туфель и сапог, и так, мелочи какие-то — в одном чемодане. «Ничего, новое купим», — сказал. И купил.

Он купил ей три бюстгальтера: хлопковый телесный, чёрный с жесткими чашечками и красный с кружевами — больше не надо, она вообще лифчики редко носила. Трусов дюжину: и красных, и чёрных, и белых, и кремовых, и одни зелёные с лисичкой. Колготок разных по пять штук: двадцать ден, сорок, шерстяных, чулок несколько — на резинке и с липучками, цвета черного и телесного, одни чулки красные, а пояс к ним всё равно чёрный. Паша хотел ещё белья взять, но она сказала, пока хватит.

Платьев домашних: зелёное, вишнёвое и в клетку, просторные, с кокеткой из-под груди, если вдруг ребёнка ждать (так он подумал, но промолчал — рано об этом говорить). Вечерних: то белое, в котором женились, совсем простое и не на заказ, потому что быстро;

красное с разрезом на второй день, хотя никакого второго дня не было, и свадьбы не было, и гостей, — новобрачные сразу в самолёт и полетели в тепло. Потом ещё блестящее золотое, Оленька сопротивлялась, но Паша сказал — нравится, нравится, когда она из рук выскальзывает, выворачивается, а он всё равно удерживает, как змейку желтопузую, ужика то есть. Оленька устало ответила, что желтопузик — ящерка, и лучше бы чёрное, но рукой махнула. Будет и чёрное, и сиреневое, и бедра испуганной нимфы, но позже, это так, на первое время. Летних с собой: короткое в горох, сарафан с бретельками крест-накрест и длинное льняное с рукавами, чтобы не обгореть.

Очки, крем солнцезащитный, всю ланкомовскую линию для чувствительной кожи одним махом, шампуней, бальзамов, масел и пен для ванн, всяких и по два. С косметикой просто было — в салоне для новобрачных стилист всё подобрал и вручил жениху чемоданчик с красотою невесты. А запах Паша сам выбрал — «**Oui**», что означает — да! да, да, да.

Туфли на платформе, босоножки вечерние с золотом, чёрные «лодочки», красные шлёпки на пробковой подошве и ещё одни, вдруг эти порвутся, вьетнамки, кроссовки, для плавания тапки, там дно плохое, домашние с помпонами, сапоги зимние, осенние — высокие, очень высокие и коротенькие совсем, ботильоны по щиколотку.

Юбку — такую или такую? Да обе бери, и широкую, и узкую; и длинную, и мини, как пояс, и прозрачную, и шерстяную. И брюки, и шорты, и джинсы, и комбинезон смешной. (Нет, а этот, для беременных, не возьму. Я сказала — нет, не возьму.)

Майки, футболки, блузки, кофточки, рубашки, водолазки, свитера и джемперы — да кто ж их считает.

Куртку кожаную, вельветовую и пуховик. Костюм, если вдруг приём официальный, — ну а что, на переговоры со мной поедешь. Пальто осеннее, одно вязаное, а другое кашемировое с шёлковой подкладкой, шубу норковую до пола, ах, какую шубу, и ещё полушубок белый, это сейчас, а там в Грецию на меховой салон слетаем.

Сумки — сумок должно быть много, посмотри, это настоящий «Вюиттон» — для начала, но и чёрную надо, и красную лаковую, и клатч, и дорожный несессер.

Драгоценности: кольцо простое обручальное, перстень с голубоватым бриллиантом, господи, я боюсь такое надевать, браслет-змейку с сапфировым глазком, кулон в виде красного яблочка, серёжки длинные с рубином и маленькие, с бриллиантами. Бижутерию на каждый день — коралл и серебро.

Да всего, всего — расчесок, зубных щёток, салфеток, платков, ручек, блокнотов, кошельков. Футляры, коробочки, шкатулки, сундучки и ящички, чтоб мелочи хранить. Тампоны и прокладки.

«Потом ещё купим, но сейчас я хочу, чтобы у тебя всё сразу было», — так Паша сказал.

Если все вещи стащить в спальню и сложить горой на кровати, Оленька бы под ними задохнулась. Но не протестовала, когда Паша приносил очередной подарок. Он-то надеялся, что если не привяжет, то хотя бы отяжелит её лёгкое тело, добавит надёжности и основательности их странному браку. Оленька же не думала о будущем, а спокойно наблюдала, как из вещей формируется её образ, стиль и в некотором роде прошлое. Теперь о ней уже много чего мог сказать посторонний человек: определить статус, вкусы, круг общения. Неважно, что это были ложные, заёмные приметы, — так даже лучше.

Её не занимали вечные женские вопросы — «за что» и «как долго». Почему он меня так любит, достаточно ли я хороша для него, сколько продлится его нужда во мне и что будет с нами через десять или двадцать лет?

Паше казалось, что тревога не жила в ней подолгу, Оленька была наполнена покоем, как чаша — густыми белыми сливками, до краёв.

При этом ни медлительной, ни скучной не выглядела. Занималась своими женскими делами (увлечения ей Паша тоже купил — вышивание, краски, компьютер, уроки танцев),

часто ходила на несложные, но забавные курсы, заводила друзей по интересам, пропадала в интернете. Но всерьёз мало что принимала, а ещё старалась, чтобы ближе Паши никого не было. Жила с ним не сердце к сердцу, с некоторой односторонней дистанцией, но уж в этот промежуток чужих не допускала. Сколько могла дать тепла и внимания, столько и отдавала.

Наблюдатель, если таковой существовал, назвал бы это честностью или осторожностью, а она сама никак не называла, просто жила, аккуратно соблюдая собственные безымянные правила.

Она иногда вспоминала, как в их первую ночь проснулась и почувствовала, что не может повернуться: Паша спал, положив голову на её волосы, рассыпанные по широкой подушке. Оленька лежала, не пытаясь высвободиться, и думала, как поступить. Теперь не уйти незаметно в ночь, разве только отгрызть лапу, попавшую в капкан, как это принято у лисиц, или отрезать рукав халата по обычаю императоров, ну, остричь волосы, говоря по-простому. Если бы вопрос был только в свободе, пожертвовала бы кудрями, но женщине, ищущей независимости, не стоило и приближаться к такому, как он. Дело тут в другом: Оленька знала, что может проникнуть в сновидение мужчины, спящего на её волосах, и быть там до утра, хозяйничая, а потом, когда он проснётся, остаться тенью в его сознании. И ради этого стоило лежать, не шевелясь, до утра, колдуя тёплые яблочные сны и маленьких демонов, до поры добрых.

Глава 2

— Во времена Спартака жила одна такая Герардеска, сначала она была рабыня, потом убежала к восставшим и сражалась. После поражения её распяли на кресте, как это было принято, но военачальник Красс проезжал мимо и забрал её, очень красивой она ему показалась, в таком-то виде. И отправил в гладиаторскую школу. Она дралась на арене и целый год всех побеждала — и мужчин, и женщин. А знаешь, кто её убил?

— Кто? Львы или тигр какой-нибудь?

— Два карлика. Один зашел сзади и воткнул ей в почки эти, как их, вилы...

— Трезубец.

— Да, а потом уже добили в грудь и в живот.... Интересно, как их звали. Если рассматривать это как притчу, прикинь: у неё было три жизни — в рабстве, в армии, в школе — всё не сахар. И вот ей двадцать восемь, она непобедима, и тут какие-то карлики. Что может уничтожить такую сильную женщину, а?

— Если как притчу, то... Ну я не знаю, предательство и ненависть, говоря красиво.

— Сомневаюсь, это мужской подход. А женщине страшны только время и правда.

— Не понял.

— Не могу объяснить. Но если что и втыкает вилы в почки, так это правда. А время добивает.

— Тебе видней, тебе видней...

Два врага у меня, два врага, я обманываю и смеюсь над ними, но только до тех пор, пока не ослабею и один не зайдёт со спины с этим своим трезубцем.

Она проснулась в девять утра, села в постели и открыла ноутбук. Ответила на письмо, выпила кофе, помахала Паше — он уходил. В окне, которое у неё около кровати, был солнечный сентябрь и яблони. Вернее сказать, что кровать около окна, но это по правилам русского языка, а по её собственным — так верней. Её кровать уходит корнями глубоко в пол, в бетон, в почву, и Оленька плывёт на большом корабле вместе с Землёй, как та женщина, чей глупый муж сновал на маленьких кораблях и всерьёз думал, что это и есть настоящая жизнь, — а это было всего лишь приключение яблока, упавшего с ветки, откатившегося неожиданно далеко, смытого волной и волной возвращённого, уже сморщенным. И вот она, капитан своего корабля, хозяйка своих яблок и слов, госпожа своих

женихов, один из которых — этот сентябрь, она дождалась, когда на ступеньках стихнут шаги, и заплакала.

Ах, всё так хорошо начиналось вчера, в воскресенье, когда она проводила на Тверской испытание новых осенних туфель. Космические ракеты по сравнению с этим — маленькая человеческая глупость, что там той небесной ерунды, обернётся пару раз вокруг планеты и сгорит, а ей в этих туфельках гулять и гулять, и этот первый выход бесконечно важен. Кто бы знал, как иногда вероломна обувь — засовываешь в неё чудесную белую ножку с алыми ноготками, а через два часа туфли полны крови, и никакого принца за это русалочке не положено, ступни превратились в пылающие куски мяса, безо всякой компенсации. И Оленька страшно волновалась, как оно всё пройдёт, чутко прикасалась к асфальту маленькими коричневыми подошвами, беспокоилась вообще и по отдельности: за косточку на правой ноге, за подъём на левой, за оба мизинца — очень сильно и немного — за щиколотки. И всё прошло поразительно хорошо, полтора часа она проходила быстрым шагом, и только тогда стало немного неудобно, но это мелочи, для первого испытания отлично. Оленька даже позвонила нескольким людям, чтобы сказать — да, да, прекрасно, спасибо, мы сделали это, они как на крылышках, и Земля такая маленькая, такая красивая, вы бы знали, вы бы знали, я лечу, и отсюда мне видны огни.

А потом, в кафе, всё и случилось, за соседним столиком она увидела старика, точнее, не его даже, а только морщину на шее, сероватую, глубокую, — не такую, что можно немного подколоть гилауронкой и полгода потом не думать; и не такую даже, чтобы как-нибудь подтянуть и отрезать. А совершенно безнадёжную морщину-навсегда, далеко не первую и не последнюю, одну из тех, что среди прочих превращают тела в пустые перчатки, и ничего уже не меняют, потому что старость есть старость.

Она, испытатель туфель и хозяйка своих яблок, смотрела, как вишенка с вершины пирамиды, и видела, как мир миллионы лет рос и стремился к тому, чтобы она родилась и взглянула на него глазами ореховыми и зелёными. Потому что если вы живёте с другим ощущением — вы живёте напрасно, и вы безответственны, как таракан, если не чувствуете под ногами миллиона черепов, если в голове у вас нет голосов, кроме голоса благоразумия или жадности.

И вдруг, и вдруг — никакая не вишенка, а лишь звено, за которым последуют такие же черепа, и мало того что время не остановилось сейчас, как золотой омут и мёд, — оно даже на секунду не замедлилось, чтобы обрадоваться Оленьке, оно продолжает течь. И мало того что ни подколоть, ни отрезать — всё гораздо хуже, чем казалось. Она ведь может умереть. Точно так, как углубляется эта его серая морщина, где-нибудь начнёт расти плотный шарик или, наоборот, истончатся сосуд, и однажды — без взрыва, без грохота, без фиолетовых молний — она умрёт.

И поэтому она молча ехала домой, весь вечер и всю ночь дождалась, пока закроется дверь, затихнут шаги, дождалась, отставила чашку, захлопнула ноутбук и заплакала.

Оленька не то чтобы не доверяла Паше, но старалась при нём не терять лица. К тому же у него была скверная привычка «контролировать ситуацию»: чуть что, насккивал с вопросами и готовыми решениями, Что случилось? Кто тебя обидел? Хочешь, накажем его? И у него делался такой странный вид, когда выяснялось, что не с кем воевать, не надо ничего «разруливать», а просто женщина плачет оттого, что время идёт.



Когда они только познакомились, Паша сказал, что занимается рекламой, и на некоторое время Оленьке хватило этой информации. Чуть позже уточнил — политической.

— Это когда листовки перед выборами в почтовый ящик бросают?

— Примерно так.

В девяностых политическая жизнь кипела, пенки не снимал только ленивый. В депутаты рвались все: жулики-бандиты, торговцы, журналисты, актёры — многие из тех, у кого были деньги или популярность, хотели конвертировать свой капитал во власть. Паша помнил детскую радость начинающих Макиавелли, открывших для себя черный пиар: ах, наклеить на машины портреты конкурента «вечным» клеем; ах, напечатать от его имени воззваний в защиту пидорасов; ах, пообещать пенсионерам издевательскую помощь в тридцать рублей — да ещё и не дать. Из сильных жестких людей повылазили плохиши и шапокляки, которые весело оплачивали мелкие пакости, охотно заказали бы и крупные, но Паша не брался, на то существовала дружественная фирма, которой передавались по-настоящему опасные проекты. Он терял деньги на этом своём чистоплюйстве, зато исхитрился сохранить репутацию, которая пригодилась в нулевые.

Шальная «политика» закончилась. Остались надковерные, публичные игры, какие-то денежные массы ещё вяло перетекали туда-сюда, но всякому стало ясно, что в стране есть одна партия, один хозяин, одна кормушка, к которой подпустили более или менее чистеньких и очень ловких. Тех, кто умел манипулировать массами, не раздражая людей, не высовываясь на экраны, не звоня направо и налево об «акциях».

Пашина фирма считалась независимой, иногда бралась за чисто коммерческие заказы — немножко подкорректировать общественное мнение в пользу нового бренда или во вред старому. Кроме «официальной» рекламы, идущей по телевизору, разумные люди заказывали и другую, неявную: слухи, так называемые новости из агентства ОБС — «одна бабка сказала» как шутили специалисты, и якобы стихийные вбросы информации в сеть.

И существовала настоящая работа, настоящие задачи и настоящие деньги.

Оленька могла быть идеальной женой для Синей Бороды — никогда не спрашивала об этом «настоящем», и Паша иной раз задумывался, вправду ли она ничего не замечает или раз и навсегда поняла: если откроет запретную дверь, потом не сумеет стереть кровь с ключа, не сохранит хрустальный покой, который был в ней самым драгоценным.

Она так берегла душевное равновесие, что почти всегда отказывалась ходить на их «корпоративчики», как называли широкие купеческие праздники, в которых не могли отказать себе даже самые серые из кардиналов. Паша, одна из главных фигур компании, должен был появляться с женой — точнее, имел право, которым редко пользовался. В нижестоящих-то сотрудниках воспитывался Дух фирмы, дескать, «отлепись от жены и матери своей и прилепись к Общему Делу, и стань с ним плоть едина» (в том смысле, что тебя, конечно, в итоге поймеют, но рядовым бойцам эту мысль до конца не разъясняли). А в руководстве, напротив, если есть Отец Родной, то должна быть и какая-то Родная Мать. Оленька на эту роль не согласилась. Когда впервые попала на их праздник, её поразила общая, почти дьявольская весёлость. Она знала это состояние: бывает, примешь какое-то тяжёлое и неприятное решение, противоречащее основам твоей натуры, потом-то и охватывает безудержная лёгкость. Оттого, что трудный этап наконец-то пройден, молоток стукнул три раза — продано, а теперь не терзаться, а дело делать надо и все положенные бонусы получать. Осталось самое приятное.

Обман был необходимым инструментом для работы, но, даже осознавая его неизбежность, они старались не признаваться во лжи без нужды — ни близким, ни себе. Но сейчас, среди своих, можно не скрывать ни методов, ни острой радости от красоты сделанных шагов. Да, мы трюкачи, манипуляторы, напёрсточники, у которых вместо шарика — маленькая невзрачная правда. И публика, открыв рот, следит за руками, не подозревая, что зёрнышко истины давным-давно зажато между ловкими пальцами. Но друг другу можно похвастать — мы опять всех сделали, и это, чёрт возьми, круто. Кивнуть, как профессионал профессионалу, получить одобрение тех, кто понимает. Важен не предмет твоей работы, главное — насколько хорошо ты её выполняешь. И когда собираются те, кто способен её оценить, испытываешь что-то похожее на счастье. Оленька увидела не одного-двух, а

десятки людей, горящих лихорадочным возбуждением, подбадривающих друг друга, по-настоящему единых в своём... падении? грехе?.., нет же, к чему тут пафос; ей хотелось сказать «в своей беде», да глупо было называть бедой окружающую роскошь и сияние... В своём выборе, вот как. И в своём деле.

В общем, от этого зрелища ей сделалось нехорошо.

Пару лет назад Паша всё-таки вытащил её на какое-то совсем уж шикарное мероприятие, ну и чем это закончилось? До сих пор аукается...

Она сидела за VIP-столиком самого что ни на есть VIP-ресторана — по крайней мере, в смысле цен — и умирала от грохота. Как раз на неё был направлен здоровенный динамик, который сначала выкрикивал приветственные речи, а потом залился попсовыми песнями, в данный момент в народном стиле. За спиной, на сцене, румяная девка пустилась в пляс, сложив руки по-кадрильному, но Оленька предпочла не оборачиваться, глядела на огромную плазменную панель, где транслировалось всё происходящее. Широкий прямоугольный экран жестоко сплющивал фигуры, и она испытывала некоторое удовольствие, наблюдая, как высушенные модельные звёздочки превращаются в толстеньких коротконогих крестьянок. Девка меж тем прооралась насчёт валенок, но не успела Оленька глотнуть десяти секунд тишины, как некто в белом пиджаке завыл что-то в латиноамериканских ритмах. Когда он сфальшивил в четвёртый раз, Оленька не стерпела и попросила Пашу убавить звук. Тот пошарил за колонкой и сказал, что ручек не наблюдается, разве только обесточить, а на это он пойти не может — соседи по столу явно наслаждаются уровнем шума, хлопая и топая, как положено образцовым компанейским парням.

— Может, сходишь к звуковикам, они бы там подкрутили чего?

Паша кивнул, исчез на несколько минут, а потом возвратился и пожал плечами:

— Не выйдет. В аппаратной такой кумар стоит... Представляешь, они укуренные все, врубили на полную, типа, народ доволен, и ладно.

— Какие засранцы, — через силу улыбнулась Оленька. Не стоит портить мужчине праздник, хотя голову сдавило не по-хорошему.

Паша встал, поцеловал её в висок:

— Прости, мне тут кой с кем раскланяться надо.

Это была часть его работы — тусоваться, похлопывать по плечу подчинённых, жать руки серьёзным людям, целовать пальчики VIP-спутниц. Жаль, что Оля такая бука, но характер есть характер, ломать свою женщину Паша не хотел даже ради дела.

Оленька подождала, пока он скроется из виду, опустила ресницы и с порхающей улыбкой, адресованной всем и никому, выбралась из-за стола. Фланируя, двинулась к выходу из зала. Она не могла сбежать, но твердо решила найти звуковиков. Эти сукины коты не имеют права издеваться над заказчиком, за такие-то бабки.

Но решимость её угасла, когда она потянула на себя неприметную дверь аппаратной. Сизый душистый дым действительно бил в нос с порога, и, посмотрев в расслабленные лица операторов, Оленька поняла: они с готовностью подрегулируют что угодно, только за результат никто не поручится. А срывать вечер не хотелось.

По крайней мере, тут было тихо. Она дёрнула плечами, укутанными в серый шелк, и зашла, притворив дверь. Она никого здесь не знала, и её никто не знал, но на диване у стены сидел парень с джойнтом бесстыжих размеров — с кубинскую сигару.

— Я Оля.

— А я Клевер. Держи.

И всё между ними стало хорошо и понятно.

Когда минут через сорок обеспокоенный Павел заглянул в комнату, Олина головная боль совсем прошла. Она смеялась, блеснула глазами и слушала Клевера, который вдохновенно гнал что-то о хитростях древних индейских воинов — будто направленной звуковой волной можно насмерть поразить мышь при условии, что она будет белая и красноглазая. Собственно, оттого женщины и вопят каждый раз, атавистическая память

срабатывает. Паша послушал минуту, оценил обстановку и ласково сказал:

— Оленька, давай-ка Иван тебя домой отвезёт?

— М-м-м... а десерт? — Как раз захотелось сладкого, она знала, что к финалу банкета приготовлен огромный многослойный торт в виде карты России. Синие кремовые реки и зелёные леса, шоколадные горы, льды из безе и красивый марципановый Кремль там, где Москва.

— До него ещё часа два, а ты, я смотрю уже... устала. Я бы попросил отрезать тебе кусочек... — Павел на секунду представил, как в зал вкатывают тележку с Россией, у которой западные территории аннексированы в пользу укуренной Оленьки, — но лучше велю шофёру, чтобы он заехал по дороге за пирожными.

Она колебалась, но Паша уже взял её под локоток и обернулся к парню, который наблюдал за ними с медленной безразличной улыбкой.

— Пяточку? — радушно предложил Клевер, сфокусировавшись на Паше.

— Пропущу. Пошли, проводишь даму.

Клевер встал, прихватил куртку и вышел вместе с ними.

Пять часов спустя Паша вернулся домой. В спальне никого не было, и он прошёл в библиотеку. Перед мерцающим экраном в широком кожаном кресле крепко спала парочка: Оленька всё в том же вечернем платье, уже изрядно помятом и выпачканном шоколадом, и Клевер. Олина кудрявая голова лежала у него на плече, на полу валялись его куртка и пустая коробка из-под пирожных.

Паша очень осторожно разбудил парня и поманил в кабинет:

— Через полчаса тебя Иван в город отвезёт, а пока зайди, чаю выпьем.

Оля даже не проснулась, когда Паша нёс её в кровать.

Так у неё появился новый любовник. До этого был другой, долго, очень яркий, но постепенно начал стираться, меркнуть, а потом и вовсе исчез. Её всегда восхищала осенняя медлительность отношений, когда вот перед тобой зелёное дерево, а через два месяца только голые чёрные ветки, и так легко сравнивать состояние недельной давности с нынешним днём, но совершенно невозможно уловить, что изменилось между вчера и сегодня. А когда увядание длится годами, и вовсе не заметить, когда человек есть, а когда уже нет, ведь несколько взглядов назад от него вроде ещё оставалась тень.

И год минул с тех пор, как он истаял совсем, и номер его она поленилась перенести в новый телефон, когда восстанавливала контакты из потерянного мобильного.

А теперь, значит, Клевер, clover, love-clover.

Начиналась их третья осень, а сентябрь всё не желал остывать, был сух и горяч, как сено, вызолоченное солнцем. Они уходили в поля, где пчёлы давно выбрали весь мёд из красных и белых цветов, но кое-где оставались ещё редкие островки зелёной травы, и можно было валяться, рассматривая выбеленное небо. Высокие стебли закрывали остальной мир, казалось, будто вокруг никого, они невидимы, неуязвимы и бессмертны, и порой Оленька находила в зарослях нетронутый летний клевер и высасывала из соцветий сладкий молочный нектар.

Потом они возвращались домой, пили виски в библиотеке, говорили о вещах внешних и странных, вроде конца миров, экологической катастрофы и магии.

К вечеру он уезжал, не дожидаясь Паши, хотя тот здоровался с неизменной приветливостью и всякий раз предлагал шофёра, который гораздо надёжнее, чем разбитые пригородные автобусы. Но «надо иметь совесть», туманно произносил Клевер и уходил в прохладные сумерки.

Оленька была уверена, что Паша не знает. Гордость не позволяла ему допустить мысли о неверности, к тому же он слишком сильный и опасный и вряд ли стал бы терпеть даже тень

подозрений. Пропал бы однажды Клевер, да и всё; но пока он здесь и цветёт в её руках, смешит и волнует — всё хорошо. Для мужа он всего лишь «её мальчик», разделяющий с молодой женой сладкое безделье, её разговорчивое полудомашнее животное — вместо кошек и собак, которых Оленька не любила.

В иные дни она одевалась попроще и ехала в город, на окраине отпускала машину и шла в метро, долго плыла в текучей толпе на другой конец Москвы, потом выбиралась на поверхность, брела по липовой аллее и неторопливо входила в красный пятиэтажный дом. Это было нескучно и непротивно, хотя от подушки часто исходил запах другой женщины, покинувшей постель пару часов назад. Оленьке делалось немного смешно, когда она вдруг улавливала игристый цитрусовый аромат, пробивающийся сквозь её — яблочный, будто любовник по ошибке прошептал чужое имя. Сексу это не мешало — ему вообще ничего не могло помешать, потому что происходящее между ними они не называли бы ни одним из простых слов, используемых обычно. Можно сказать, что они сплетают хвосты — будь у них хвосты, или взлетают — будь у них крылья, или разговаривают с Богом — будь у них Бог. Но ничего такого не было, поэтому они совершали свои долгие молчаливые соприкосновения тем, что имели. И, в общем, любой внезапно заглянувший в комнату наблюдатель диагностировал бы их занятия однозначно.

И, конечно, ошибся бы. От призрачных этих развлечений не случалось даже оргазма, по крайней мере, у неё. Настоящий секс возможен был для Оленьки только с тем, кто при случае мог свернуть ей шею, — так она думала. Никакого садо и мазо, но в принципе! в принципе, ей важно чувствовать в мужчине сдержанную ярость, которая однажды грозила вырваться. Именно за нею она неизменно возвращалась к мужу.

А какая ярость в цветах — только спрятать лицо в душистые белые лепестки, лишиться рассудка, забыть себя, а потом опомниться, надеть платье, туфельки, выйти из дома, как ни в чём не бывало, и лишь в метро, случайно прикоснувшись к лицу, ощутить на подбородке следы пыльцы.

Глава 3

— А то ещё был крестьянин, и в него тоже влюбилась лиска. Извела каким-то ужасным образом его жену (в кипятке сварила, что ли, не вспомню), обернулась похожей женщиной и пришла к нему жить. И год, и другой проходит, она такая хорошая, ласковая и хозяйственная, что мужик не нарадуется. И тут приходит к ним даос, переночевать чисто. Смотрит на это дело, а утром отзывает крестьянина и спрашивает: «Ты, между прочим, в курсе, с кем живёшь?» А тот ему говорит прекрасную вещь: «А станет мне лучше, если узнаю?» И даос такой молча отвалил.

— Правильно сделал. А муж, стало быть, всё понимал?

— Догадывался, но думать об этом не хотел.

— Разумно. Но только ведь обмануть его не получилось. Интересно, она знала, что он знает?

— Н-ну... наверное...

— Сомневаюсь. Лжецы — самые доверчивые существа на свете. И самоуверенные — думают, что только они здесь умные, а вокруг слепые. На том и погорают.

На обманицу капканы расставлены — не в один попадёт, так в другой. Первая ловушка в том, что лисица беды не замечает: плетёт свою хитрость, поёт свою песню, колдует и варит зелье — внимательно следит, как бы ни напутать, — а по сторонам не смотрит. Кто хочешь подкрадётся, если не за хвост ухватит, то издали прицелится и неспешно подстрелит.

А другая ловушка в привычке. Обманываешь, обманываешь, а они всё верят и верят кажется — быть не может, уж давно поняли, просто мирятся с тем, что лиса, ну лиса и лиса, такая уродилась. И однажды она возьмёт да и не спрячет вовремя хвост, уши

платком не подвяжет, не перекинется на опушке, а вбежит в дом как есть. То ли забудется, то ли лапой махнёт на конспирацию — раз в глубине-то души все всё знают, так чего уж там. Пройдёт к огню, как ни в чём не бывало, усядется аккуратно, лапка к лапке.

И только взглянув на побелевшие лица, на дикие глаза и перекошенные мукой рты — поймёт, что пропала.

У Клевера, между прочим, кроме бывшей жены и стайки случайных девочек, имелись так называемые «серьёзные отношения», длящиеся уже года четыре. Оленька не препятствовала, у каждого порядочного любовника должны быть какие-нибудь «серьёзные отношения», иначе он в один прекрасный день затоскует и женится. А такого рода связи браком не заканчиваются никогда, потому что глупо ставить в паспорте штамп и ограничивать свою свободу, если девушка и без того столько лет никуда не девается. Поэтому Оленька вела себя прилично, «приветов» в виде трусиков под подушкой сопернице не передавала и вообще не вредничала. Они даже как-то поужинали вчетвером — Оля, Паша, Клевер и эта самая Катя — молоденькая, но уже не юная, наряженная во всё лучшее, тревожная. Она весь вечер поглядывала, стреляла глазами то на одного, то на другого, пытаясь понять, кто и в какой степени в курсе. Это забавно смотрелось, но немного тяготило, и Оленька для себя решила, что так волноваться из-за мужчин — ниже человеческого достоинства. Ведь есть поистине вечные ценности, вроде самоуважения, свободы, хорошей погоды и свежести этого салата, который подали с хрустящей, идеально поджаренной уткой. А тут не из-за чего вертеть головой, покрываться мурашками, особенно заметными при таком открытом платье, толкать коленом соседа, если вдруг покажется, будто слишком засмотрелся на губы другой женщины.

Всё, что хотела, Оленька поняла и с тех пор благодушно учитывала Катю как некую занятую привычку своего друга.

Клевер был музыкантом, но в рамках призвания менял профессию каждые две недели: то играл, то плясал, то проводил тренинги — разнообразные, но обязательно связанные со звуками, которые умел извлекать не только из музыкальных инструментов, но из любых предметов и людей, и даже самые молчаливые женщины в его руках пели.

И каждый раз новая работа оказывалась настоящим делом его жизни, именно тем, к чему всегда душа лежала, — и наконец-то. Но ирония здесь весьма условная: он действительно был великолепен во всём, за что брался. Правда, только в течение двух недель, но те, кто жаждали постоянства, должны были просто пойти другими дорогами, а Оленька-то искала лишь сиюминутного совершенства, поэтому её всё устраивало.

И она шла к нему в очередной раз, понятия не имея, кто откроет дверь сегодня — барабанщик, диджей, учитель танцев или «телесно ориентированный психотерапевт». Одно знала точно: открывший эту дверь будет безупречен.

Как-то раз он уселся в полулотос и сообщил:

— Я — ЭмСи! Мастер Церемоний.

Оленька понимающе кивнула:

— Ещё бы, да кто ж, как не ты.

Он объяснил, что это чаще всего просто распорядитель мероприятий, выкрикивающий в микрофон всякую ерунду, чтобы завести публику. Но вот он, Клевер, может создать атмосферу с нуля, начиная с подбора музыки и света, заканчивая дозировкой веществ, необходимых для правильного состояния. Умение управлять сознаниями, чтобы в итоге никто не пострадал, дорого стоит. Поэтому теперь он будет ЭмСи, начнёт с квартирников, потом новогодние корпоративы пойдут, а летом опен эйры и прочие пикники.

— Чудесно, — ответила Оленька, — сходим в парк?

Она очень любила гулять, и не то чтобы у неё был темперамент таксы, просто нравилось ходить, а всякие такие штуки действительно лучше обсуждать в парке, иногда посреди разговора отбегая в сторону, чтобы посмотреть, кто это там интересный шуршит в

кустах, мышка или птичка, ведь бывает и белочка.

— Пойдём. Только, это, Кате надо чего-то наврать, а то она орёт, когда мы с тобой вдвоём куда-нибудь собираемся.

— А Кате мы скажем, что заедем к Паше на работу.

И он ушел в другую комнату, чтобы ей позвонить, Оленька тоже быстро что-то прошептала в свой маленький красный мобильник, и они убежали на улицу.

А через пару дней он говорит:

— Оль, тут странное что-то. Катя в тот раз не поверила и перезвонила твоему мужу. А он подтвердил, что мы у него были.

— Ну, так я его попросила нас прикрыть.

— То есть?

— То есть я пожаловалась, что у Кати не все дома, подозревает нас постоянно, поэтому пусть он ей...

— Но мне всегда казалось, что твой Паша нас тоже... того... подозревает.

— Не без этого. И как же иначе, если мы шлеемся где-то целыми днями и возвращаемся подозрительно довольными. У этих людей на уме только одно, ты же знаешь.

— Ну и?

Оленька ответила терпеливо:

— Но после того, что я сказала про Катю, он не захотел выглядеть таким же комическим ревнивцем, как она. Теперь Катя дура, а он молодец и всё понимает.

— Слушай, я, кажется, понял, кто тут настоящий ЭмСи. Такой точный ход!

Чуть позже Клевер обронил, что Катя на него всерьёз обиделась.

— Понимаешь, я ей рассказал...

— Про нас?!

— Ну, не совсем. Сболтнул, какая ты умница и как ловко всё устроила в тот раз. В воспитательных целях, чтобы училась с мужчинами обращаться. А она надулась.

Оленька прикрыла глаза и немного про себя посчитала. Из него никогда не получится Мастер Церемоний. Но вслух произнесла другое:

— Давай немного погуляем.

С ним было хорошо ходить по полям, он носился рядом как жеребёнок. Мог безостановочно болтать, но никогда не мешал думать, если ей хотелось молчать.

«Катя-Катя, ты ни за что не поверишь, что мы просто пьём что-нибудь и смеёмся, а потом засыпаем, держась за руки, а около одиннадцати он подбирает свой роскошный лисий хвост и уезжает. Нет, у него нет хвоста ни в прямом, ни в переносном смысле, но явно есть что-то роскошное, что он приносит и распушает по всему дому, а потом никогда не забывает забрать. Оставляет у меня серые шерстинки, уносит рыжие, а больше мы не делаем ничего плохого. Да, дорогая Катя и дорогой Паша, верьте нам, верьте, мы просты, как грех, и ясны, как белые луны и жёлтые фонари, о которые вы бесцельно и недоуменно бьётесь ночь за ночью.

Мы — ваши злые дети, которых вы зачем-то завели, хотя и знали, знали с самого начала, как это будет. Неблагодарные дети, которые не хотят с вами играть, потому что им интересно с другими, такими же нахальными и порочными мальчишками и девчонками». «Где ты был?!»

«Что ты делала весь день?»

«С кем ты разговаривал по телефону?»

«Не ври!»

(Господи, но почему «не ври»... Да если мы перестанем врать, что у вас останется?)

«Я вообще-то не заставляла со мной связываться».

«Катя, я очень тебя люблю».

«Нет, я не хочу загнать тебя в могилу».

«Никого важнее тебя нет, не плачь, пожалуйста».

«Паш, я побежала?»

И мы снова бежим — сплетать хвосты и лазить по деревьям, иногда жалуясь: «А она мне и говорит... представляешь?» — «Да совсем с ума сошла, больные они, эти взрослые», но чаще играем в свои невинные блядские игры, в которых нет ничего плохого, кроме одного — вам с нами нельзя.

Иногда мы удираем из дома, садимся в поезд, прикинувшись взрослыми, прикрывшись паспортами, и едем туда, где никто не знает, чьи мы.

— Чьи вы, ребята?

— Мы — свои собственные!

В Африку никогда не сбегают дольше чем на пять дней.

«Кать, ну чего ты? Я обязательно вернусь, не к ужину, так к обеду».

Я точно знаю, зачем это нам, — чтобы возвращаться. Чтобы было к кому и было — зачем.

Но мне до смерти интересно — вам, вам- то это зачем? Зачем вам такие плохие стареющие, но невырастающие дети?

««Люблю» — это не ответ».

Через несколько часов Оленька разглядывала его отрешенное лицо — от дневного веселья не осталось следа, он курил, смотрел в темноту и, казалось, не думал ни о чём или, наоборот, был со своими мыслями так далеко, куда она не могла дотянуться. Равнодушное божество, правда, не её. И Оленька мучительно позавидовала этой нервной Кате — не потому, что та «почти замужем» за таким сокровищем. Она позавидовала женщине, которая живёт с тем, кого любит. Просыпается рядом и сначала поворачивается в его сторону, а уже потом открывает глаза и сразу видит — ещё не раздражённого, ещё не лгущего, ещё беззащитного, ещё — её: смятые ресницы, расслабленные губы, спутанные пряди, прилипшие к щеке. Дышит.

А равнодушное божество долго и покорно лежит, прикидываясь спящим. Чувствует на себе требовательный и горестный взгляд, и рот его наполняется злостью, потому что оно-то не может позволить себе жалкое разрушительное счастье — жить с тем, кого любишь, и быть нелюбимым.

Оленька не сомневалась: Клевер, как и она, просто не выдержал бы в таких условиях, какие годятся для Кати. Быть милосердно обманутым — для истинного лжеца гибель.

Оленька всегда, сколько себя помнила, не любила правды. Во-первых, за то, что её не существовало. Вроде вот она, чистейшая истина, а чуть изменить угол зрения или подождать немного — и что-то уже не то, подробности какие-то появляются, нюансы, которые делают картину не столь безупречной и очевидной. А если другого человека подозревать, так он и вовсе увидит на месте твоей незыблемой правоты неубедительную иллюзию.

А во-вторых, если допустить возможность каких-то постоянных, протяженных во времени и пространстве истин, Оленьке становилось неудобно. Так уж вышло, что всё, ею любимое, не выдерживало столкновения с реальностью, разрушалось в той же системе координат, что и мамина, например, или какая-нибудь «общечеловеческая» правда.

Пришлось пережить множество бедствий, прежде чем сумела понять: хочешь сохранить свою личность в целости, а близкого человека в покое и благополучии, — лги.

Не было такой школы, где могла бы учиться Оленька — хорошая девочка, отличница с прямой спиной и ясным взором, всеобщая любимица, а не пугливый зверёк с чуть косящими глазами. Не было, но её следовало придумать.

Не было дома, где осталась бы память о покойном отце — образцовом семьянине, даже не взглянувшем на другую женщину. В шестнадцать лет, уже после того, как он внезапно умер, Оленька нашла на полке позади книг пачку писем. «Милый, — писала какая-то женщина, — приходи, каждый день я жду тебя, и чего мне стоит не бегать на соседнюю улицу к твоим окнам». Оленька посмотрела по датам: эта связь продолжалась чуть ли не всю её, Олину, жизнь, письма шли и шли до востребования, а папа их забирал и, наверное,

отвечал своим аккуратным интеллигентным почерком: «Люблю, приду, подожди» и не имел сил выбросить улики. Оленька тайком от мамы прочитала их все, вспоминая внезапные отъезды, срочные работы, неожиданные походы в магазин, длящиеся несколько часов. Будто нечаянно взглянула в зеркало и застала его врасплох, отражающим какую-то неведомую комнату. Оля тоже не смогла уничтожить письма, хотя твёрдо решила сберечь мамин покой.

Но не было мира, где через много лет мама не залезла зачем-то в Олин шкаф, не нашла коробку из-под обуви, не прочитала, не схватилась за сердце. Не было мира, где она проснулась бы следующим утром. И его следовало придумать.

И Оленьке приходилось всё делать самой, создавать твёрдую землю и ясное небо для тех, кто был ей важен, запираť двери, в которые могла ворваться правда — такая, как та, что погубила однажды маму. Тогда не уберегла, но со временем Оля становилась сильнее и смелее. Добрый замечательный папа не сделал ничего дурного, но лгал он годами. Значит.... Значит, не так страшна ложь. Бояться обмана — удел слабых, тех, кто опасается, что их собственная душа растворится в море. Удел сильных — строить и оберегать.

Она научилась получать удовольствие от своей... работы? Или даже миссии? Ведь можно создать очень красивый мир, особенно теперь, когда умерли все, кого она любила, и остался только человеческий материал, более или менее симпатичный. Речь не о патологической лживости, скорее, об эстетическом побуждении. Вдруг возникает острое желание закрутить реальность особым образом, чтобы получилась сложная изящная конструкция, включающая в себя «то, чего не было», осколки правды и — обязательно! — нервную реакцию того, кому обман адресован. Именно этот персонаж придаст всей истории живость. Или — эти люди — если исхитриться и создать инсталляцию с несколькими участниками. Особенно шикарно, когда они видят разное, но внутренне непротиворечивое, иначе всё разваливается.

Коротко говоря, будто переносить графику Эшера из плоскости в пространство.

Сейчас она колдовала Пашину жизнь. От простой привычки, из благодарности за уют и ласку или ещё по какой причине, но она старалась сделать мир этого человека уютным и спокойным. Она выглядела той женой, которая могла дать ему счастье, а свои тёмные и странные стороны скрывала. Незачем ему знать о бедах и хитростях, пусть видит только простое невинное лицо.

Впрочем, не совсем уж невинное — смешной Клевер нужен был не только Оленьке но и Паше, для тонуса. Она испытывала удовлетворение от интриги и от того, что никто из них по-настоящему её не знает, — а ведь оба уверены, что видят насквозь. Мужчины ужасно самонадеянные.

Она чувствовала власть над реальностью и упивалась ею. Тихими вечерами Паша возвращался домой и застывал на пороге комнаты, любуясь ладной фигуркой своей жены, сидящей на диване в простом платье, с книжкой на коленях. Оленька поднимала на него уставшие глаза, поправляла пушистые волосы, заколотые на затылке, и понимала, что этот образ идеален и сила его такова, что пожелай сейчас она, и может подняться и уйти, а Паша так и останется стоять, с любовью глядя на созданный ею морок.

Оленьку забавляло, что мужчина, сделавший своей профессией манипуляцию, так легко попадает на её хитрости. «Всё потому, — думала она, — что я делаю это для искусства, а они — из-за денег. Отсюда их вина и тревога, отсюда и моя свобода. Мы — разные, мы точно разные, я уверена. И я определённо справляюсь лучше...»

Не то чтобы её мучила совесть, но оставалось некое ощущение, что обманы бывают нескольких сортов, и очень важно, чтобы какие-то гипотетические наблюдатели не смешивали её с теми, «неблагородными», лжецами.

Поначалу Оленька не сомневалась, что сможет покинуть Пашу в любой момент. Однажды, когда история окончится, она стряхнет эту жизнь со своих лёгких ног так же, как и

предыдущую, и убежит.

А в последние годы совсем перестала представлять, как это произойдёт. Ей было хорошо в наколдованном мире, он стал почти настоящим, плотным и тёплым.

Глава 4

— Кицунэ крутые, очень крутые! Они способны управлять пространством, временем и немножко огнём; могут вселяться в чужие тела, сводить с ума и создавать иллюзии, похожие на правду. Иногда они превращаются в ненастоящую луну!

— Мне кажется или ты пересказываешь статью из Википедии?

— Нет! То есть да, но это не имеет значения.

— Конечно, для сочинителя сказок — вполне достойный источник.

— Но главное, конечно, хвост.... Как ты думаешь, а где у меня тут хвост должен быть?

— Где копчик, под крестцом.

— Копчик, он вон где, а крестец вон где. Между ягодицами, что ли, должен торчать?

А? Не спи — меж ягодицами торчать, что ли, должен?

— Нет, там конец копчика, который остаток хвоста, а начинается он от крестца.

— Ага. Ну ладно, хорошо. А почему, почему он отвалился?

— Не нужен стал.

— Нет, ну почему именно он? Сколько атавизмов в человеческом теле — зубы мудрости, волосы, брови, — они почему остались, а полезный хвост отпал? Вот зачем тебе брови, а?

— Да он всё равно был бы короткий, ну чего ты, спи.

— Короткий, да мой. Прикинь, были бы критерии красоты — мускулистые хвосты, жирные хвосты... Нет, жировых тканей там нету, но мышцы можно накачать, да? Да? Эй, не спи. Да?

— Не расстраивайся, он всё равно не пушистый был бы, а как у мартышки, лысый и неинтересный. И вообще. Ты же прочитала в своём источнике знаний, что означает «кицунэ» по-японски?

— Конечно! «Пойдём и поспим».

— Молодей- Больше доверяй интернету. И спи давай, ли-сич-ка.

Оленька далеко не всегда находилась во власти демиургического бреда — часто хитрости не выходили за рамки невинных мистификаций, и лучшим полем для развлечений был интернет. В ранней юности её поразила история Лизы Дмитриевой, некрасивой и талантливой девушки, которая вместе с Волошиным создала легендарную Черубину де Габриа. Пусть всё печально закончилось, но не за каждую хромоножку большие поэты вызывают друг друга на дуэль. Оленьку особенно трогал тот факт, что Лиза не могла расстаться с обманами всю короткую жизнь и до конца прикрывалась личинами — например, желтой маской раскосого китайца Ли Сян Цзы, которому, наверное, снилось, что он бабочка-Черубина, которой снится...

Со временем Оленька поняла, что создать блистательного виртуала, будучи простушкой, несложно, но есть особенная тайная гордость в том, чтобы скрыть свою силу, перекинуться серым ночным мотыльком, вылепить из обычной глины простого и живого человека — так, чтобы все поверили.

Однажды в сети появилась и около года просуществовала Оксана Ключева, разведенка с окраины, с двумя детьми. Младший, Серёжка, много болел, а тринадцатилетняя Кристиа потихоньку начала отбиваться от рук. Работа пока была, но Оксана задыхалась под тяжестью нескольких потребительских кредитов, которые набрала по глупости в «тучные годы», — тогда казалось нормальным делать долги не в крайнем случае, а просто, чтобы купить пару новых мобильных себе и дочке или свозить сына к морю — не в Крым, а в Турцию.

Оленька была доброй женщиной и не хотела повергать свой персонаж в отчаяние.

Платежи возвращались в срок, дни наполнялись рутинными трудами, вечера — сериалами, ночи — пустотой. В Живом Журнале, единственной реальности, где обитала Ключева, нашлись человек сто, пожелавших следить за её судьбой с ленивым участием. Они писали ободряющее «держись», «ты молодец», «береги себя», и каждый раз, сочиняя комментарий, чувствовали к простодушной одиночке искреннюю симпатию, которая была тем приятней, что хватало ее ровно до нажатия кнопки «отправить».

Оленьке хотелось встряхнуть этих добрых людей, поразить их воображение, напугать, но из суеверия она не желала измышлять серьёзные несчастья. Нужно придумать что-то яркое, но не очень фатальное, и Оленька листала блоги и новости в поисках идей. Несчастливая любовь? Скучно, да и поздновато с двумя детьми. Ограбление, черствые менты, жертва в поисках справедливости? Банально. Смертельная болезнь вроде поросычьего гриппа? Нет, такими вещами не шутят.

Но именно медицинский сайт натолкнул её на мысль. Поначалу та показалась слишком «мексиканской» для нашего климата, но, покопавшись в сети, Оленька нашла несколько очень интересных статей.

И однажды Серёже понадобилось сдать кровь, после чего Оксана вскользя написала, что у него редкая группа, не вторая, как у неё. Потом была неделя, полная ничего не значащих событий, а в двадцатых числах зашел бывший муж, «папаша» или «этот козёл» — по настроению. Он, конечно, бросил их пару лет назад, когда мальчику исполнилось три, и Оксана только-только вышла на работу, будто специально ждал, чтобы не выставить себя совсем уж подлецом. Деньги приносил исправно, поэтому окончательно козлить его не стоило, и общались разведенные супруги вполне мирно, хотя и не без подколов.

Оксана неторопливо рассказывала «бывшему» о последних происшествиях, и уже совсем было собралась перейти к новости об анализах, когда чёрт (или Бог?) вдруг дёрнул за язык, и она зачем-то спросила:

— А у тебя какая группа крови?

— Первая положительная.

— Точно?

— Ага, недавно штамп проставляли.

Оксана захлопнула рот с ощутимым лязгом. У Серёжи была четвёртая.

Выпроводив «папашу», кинулась к компьютеру. Через два часа она точно знала, что отцом её ребёнка не мог стать человек с первой группой, так везде писали. И не менее точно она знала, что, кроме мужа, у неё тогда никого не было. И в блог полетела подзамочная запись: «Девочки, я сейчас сойду с ума...» — с изложением этого разговора.

Оленька собрала жатву комментариев от потрясенных друзей и удовлетворённо отодвинулась от монитора. Пусть поквохнут несколько дней, а через неделю в сети появится скупая фраза: «Я решилась на генетическую экспертизу».

Перед публикой развернулось мощное полотно Оксаниных страданий. Сказать или не сказать бывшему? Он же ей не поверит! И алименты перестанет давать. Кстати, исследование ДНК стоит кучу денег... К чести Оленьки, она не стала просить материальной помощи, отчетливо осознавая грань, когда игра переходит в мошенничество. Такая сдержанность принесла плоды — число посетителей блога неуклонно увеличивалось, хотя все записи о трагедии семьи Ключевых хранились под замком. Но допущенные к секретам не держали язык за зубами, слишком уж волнующей была история. Не каждый день увидишь такое своими глазами.

«Не может быть, — писала несчастная мать, — чтобы Серёженька был подменным. Ну да, чёрненький, ну болезни не «наши» — у нас в роду щитовидкой никто не страдал... Но я думала, в прадеда какого, мало ли. И люблю я его всем сердцем. Но если вдруг... Где же мой настоящий мальчик?!»

Читатели проливали слёзы сострадания.

Однажды в блоге Оксаны Ключевой появилась открытая запись, содержащая сухие фразы медицинского отчёта, из которых следовало, что Сергей Николаевич Ключев не является её сыном. В роддоме произошла ошибка, младенца перепутали.

Оленька открыла карты и стала ждать результатов. На что она рассчитывала, неизвестно.

Но резонанс её немного испугал. Сначала история прокатилась по блогам, в журнал хлынули толпы — и сочувствующие, и недоверчивые, и возмущённые. Оксану утешали, упрекали и просто травили. «Что это за мать, если не способна почувствовать подмены?!», «Да врёт она всё, ребёнок от кобеля какого-нибудь, а справку для мужа купила», «Это поклёп на российскую медицину!» Окажись на месте виртуала настоящая живая женщина, потерявшая голову от горя, ей пришлось бы плохо. Даже закалённой Оленьке стало не по себе.

Послания начали приобретать истерические нотки: молодые мамочки, явные жертвы послеродовой депрессии, тут же с криком, что у них «неправильные дети», помчались на экспертизу.

А потом пришли журналисты. Новость попала на сайты и в газеты, и сразу несколько изданий предложили расследование. Они требовали сообщить номер больницы, имя лечащего врача и другие подробности.

И тут Оленька струсила. В одну прекрасную ночь, после особенно напористого письма, она не смогла заснуть. Вышла в сеть и начала методично удалять все комментарии, которые когда-либо оставляла в чужих журналах. Это было не очень сложно, «Оксана Ключева» не отличалась общительностью. Потом уничтожила блог, который к тому моменту читали несколько тысяч человек, и почту «Оксаны». Вычистила в компьютере историю посещений, все файлы, связанные с «делом Ключевых», и пошла спать.

Через несколько дней, едва она решила, что шумиха закончилась, Паша вдруг спросил за завтраком:

— А ты видела в сети историю Оксаны Ключевой?

— Нет! — ответила Оленька слишком быстро. — То есть да, но всерьёз не интересовалась.

— Пропала куда-то тётка-то.

— Искали?

— Ну, айпишник пробили... — Паша помолчал. — Забавные вещи выяснились...

— Ой, — Оленька вдруг схватилась за щёку, — ой, ой, ой. Жуб, жуб жабодел от джема.

— Ой, — в тон ей ответил Паша, — давай к врачу съездим, сейчас позвоню, — и потянулся к телефону.

— Нет! — Стоматологов Оленька боялась почти больше всего на свете. — Я прополощу шодой! — И выскочила из-за стола.

Минут через десять Паша заглянул в ванную, где Оленька старательно полоскала рот.

— Полегчало?

Она кивнула.

— Я поеду тогда, номер зубодёра на столе оставлю, если что.

Оленька в ужасе затрясла головой так, что за щеками забулькал содовый раствор. Паша засмеялся:

— Ну и забавная же ты девочка.

Она выплюнула и возмущенно ответила:

— Что ты пристал? Ничего смешного!

Паша поцеловал её в макушку и повернулся к двери, но остановился на пороге и ни с того ни с сего добавил:

— С Ключевыми отлично кто-то сработал, — и ушёл.

Оленька выдохнула. Из зеркала на неё смотрела чуть порозовевшая и напуганная физиономия.

— Ладно, — сказала вслух Оленька, — я больше не буду.

Уже в машине Паша позвонил кому-то и коротко бросил:

— Отбой, ложная тревога.

Контора стояла на ушах с того самого момента, как всплыл ай-пи адрес «Оксаны»: чья это провокация, против кого, а главное, зачем?!

Вот и выяснили.



А Оленька просидела тихонько примерно месяц, а потом соскучилась. Ей не давала покоя история писателя Укропова, о которой она узнала, играя в Ключеву. Однажды в одном из журналов Оксаниных друзей она встретила подзамочную запись, пересыпанную смайликами и озаглавленную: «Укропов переоделся в блондинку!» Оленька ничего не имела против трансвеститов, поэтому решила почитать. Оказалось, дело не в сексуальных перверсиях.

Укропов был неудачником от литературы. Он сочинял романы, стихи, рассказы, притчи, критические статьи и зарисовки на темы морали, но его не печатали, книгоиздатели отвергали крупные формы, а журналы — мелкие. Он переехал из подмосковного городка на юг России, подальше от прогнившего столичного менталитета, поближе к исконно простым душам, но даже в местных газетах ему отказывали. Более того, никто не *хотел читать* Укропова в сети.

Не то чтобы он писал совсем плохо, но очень, очень скучно. От его старательного умствования и мучительного юмора сводило скулы даже у самого терпеливого человека. К тому же Укропов был почвенник, и в текстах постоянно что-то колосилось и простиралось, забубенно взвизгивало и лихо ерепенилось. Худенький тонкошей автор вдохновенно сверкал очками, описывая удаль и просторы, но рассказы всё равно выходили вялые и путанные, как остывшие переваренные макароны. Укропов страстно желал признания, публикуя работы на всех доступных ресурсах — форумах, блогах, прозах. ру и прочих площадках для начинающих. Участвовал во множестве конкурсов, но никогда не выигрывал. Критики его, как правило, не замечали, а если удостаивали вниманием, то ругали и глумились.

Писатель Укропов решил действовать нетривиально — переоделся в блондинку. Виртуально. Женщинам в этом проклятом мире можно всё — писать нелепые стишки, интересничать, закатывать истерики, болтать чепуху, — их прощают по факту врожденной глупости. И Укропов завёл в Живом Журнале кокетливый розовый блог, добавил в друзья всех заметных литераторов и развил невероятную активность. Для начала нашёл в сети своего самого ядовитого зоила¹ и обрушил на него поток безобразной бабьей брани. Поскольку критик был действительно злым, нашлась масса недоброжелателей, одоббивших отважную незнакомку. Так Укропов одним махом обрёл аудиторию. Потом подоспело очередное сетевое состязание, пришла пора для серьёзной рекламы. Укропов выставил свой любимый рассказ о сельском учителе Пузырькове на соискание премии «Бриллиантовое пёрышко». Блондинка в Розовом написала в блоге восторженный пост, а потом принялась бегать по литературным сообществам и популярным Журналам и невинно, по-девичьи, намекать: «Кстати, вы слышали о писателе Укропове?», «Рекомендую удивительное

¹ Придирчивый злой критик, постоянный хулигатель (*книжнустар.*).

произведение Укропова», «Хотите знать, как живёт настоящая Россия? Вам сюда...» (далее следовала ссылка). Нежным белокурым девушкам в самом деле многое прощают, никто не нагрубил в ответ, рассказ, правда, не победил, но лиха беда начало...

Разоблачили Укропова случайно. Он не удержался и глупо отметился чем-то едким в журнале одной гражданки, с которой прежде был близок, — ну да, даже у самых жалких неудачников иногда случается секс. Бросил несколько горьких слов, будучи в костюме блондинки, и на свою беду использовал фразу, которая уже звучала в личной переписке. Его дама, отличавшаяся языковым чутьём — это и помешало развитию их отношений, — что-то заподозрила, стала искать записи и комментарии загадочной девы в розовом, нашла... и обо всём догадалась.

Доброе сердце не позволило ей позорить Укропова публично, но удержаться было трудно, в своём блоге она описала историю в красках, хотя и только «для друзей». До героя, впрочем, постыдные новости донесли, он немедленно убил виртуала, но из сети не пропал, потому что это было выше его сил — лишиться единственной надежды на успех. Укропов искренне хотел сделать мир лучше с помощью своего творчества, а раз его отказывались принимать, приходилось идти на хитрости. Но ведь светлая цель оправдывает любые средства.

Оленька тогда прочитала и поёжилась — хуже нет, чем быть пойманным на горячем, не на обмане даже, а вот на этом яростном неутолённом тщеславии. Будто тебя потащили, как эксгибициониста из кустов, и сразу бросили в толпу, под вспышки фотокамер и хохот зевак. Тогда она была занята «клюевским делом», но имя незадачливого автора запомнила и теперь решила помочь писателю Укропову.

Она узнала, что среди писателей-деревенщиков прямо сейчас проходит конкурс «Золотой колосок России» и в списке участников Укропов не значится, — видимо, не уследил за новостями. Это большая удача, которую грешно упускать, и Оленька села сочинять рассказ.

Вообще, писать она не умела. Ей легко давались полстранички связного текста, а настоящие истории с зачином, кульминацией и развязкой не получались. Но при острой нужде она применяла простенький трюк: воображала себя кем-нибудь другим и говорила от его имени. В результате выходили неплохие стилизации «к случаю», а сейчас такая и требовалась.

И Оленька представила, что она — невезучий писатель Укропов, от всего безъязыкого сердца любящий Россию, которой совершенно не знает. Слабый телом, смутный духом, полный самых лучших намерений и не имеющий сил их воплотить. И она поняла, о чем нужно говорить, и застучала по клавишам, чувствуя себя Укроповым, в котором бурлила её, Оленькина, энергия.

С последней точкой она оторвалась от клавиатуры — и тут же перестала быть Укроповым. Прочитала получившееся и расхохоталась. Рассказик оказался плохоньким. Всё-таки Укропов паршивый писатель. Но было в этом тексте нечто, отсутствующее в оригинальных укроповских творениях. Всё почти как обычно: и сюжет нелепый, и персонажи ходульные, и псевдонародный стиль, и юмор плоский, и глупое имя у героя. Но при всём том у читателя на секунду вздрагивала душа, он откликался на лисий морок и кивал: да, да, так бывает. Потом, конечно, сам себе удивлялся, ну чем это может понравиться, но момент узнавания не забывал. И ещё одно достоинство имелось у этого рассказа — он совершенно точно понравился бы писателю Укропову.

Далее было несложно. Простенькая программа позволяла в электронном письме подставить в поле «отправитель» любой адрес. Получатель с первого взгляда не догадается, что послание пришло от самозванца, если не залезет в исходные данные — куда пользователи обычно не заглядывают. То есть при минимальной невнимательности подлог

мог сойти с рук, а Оленька не сомневалась, что устроители не станут исследовать каждое письмо под лупой. Е-мейл Укропова Александра Вольдемаровича легко нашёлся в открытом доступе: бедолага боялся, что, если не кричать о себе на каждом углу, удача не заметит его и пройдёт мимо, поэтому настойчиво афишировал настоящее имя, возраст и прочие данные. К тому же он втайне гордился фамилией, столь близкой к земле.

Оленька заполнила заявку, отправила фальшивое письмо с рассказом и стала ждать результата. Через десять дней на сайте огласили имена победителей. «Смерть библиотекаря» заняла почётное второе место и будет опубликована в сборнике, который издадут тиражом в тысячу экземпляров на деньги одной народолюбивой партии.

Оленька несколько не удивилась, её остро волновало другое: примет ли писатель Укропов подарок судьбы?

Она просто плела свои сети и бросала их в воду, не зная, попадётся ли в них какая-нибудь рыбка, и уж тем более не догадываясь, что та при этом почувствует.

Где-то на юге страны худой мужчина средних лет проверял электронную почту. Иногда казалось, что никто, кроме спамеров, им не интересуется, но сегодня он открыл ящик и не поверил глазам. Поначалу подумал, что когда-то зарегистрировался на конкурсе и позабыл, но, зайдя на сайт, обнаружил под своим именем совершенно незнакомый текст. Хотел возмутиться жестокому розыгрышу, начал читать, и кривая усмешка сползла с его губ. Он этого не писал, но, чёрт побери, это был его рассказ. Его мысли, его знание жизни, его неповторимые укроповские стиль, талант, горькое искристое остроумие и боль за бесцельно проходящие дни. Он не понимал, что случилось, но глаза вдруг повлажнели, сердце рванулось навстречу словам и слилось с ними.

Писатель Укропов подарок принял.

Это очень большое удовольствие, и приходилось всё время за собой следить, чтобы не растрачиваться по пустякам — из бумаги и фраз, светлых и тёмных полос, из чужих волос, тёмных и светлых, из пауз, пустот и отражений, — не плести бессмысленные безделушки-обманки. Только для серьёзных случаев стоило тревожить силы, которым не было названия, но они точно существовали, Оленька их чувствовала.

Она отлично понимала, почему ложь раздражает всех, даже не вовлечённых в паутину. По той же причине, по которой от эшеровских рисунков болит голова и случается физическая тошнота. Разглядывая их, человек начинает сомневаться в правильности собственной точки отсчёта, в незыблемости земли под ногами, в адекватности восприятия, в конце концов. То ли я вижу, что действительно происходит? Если сейчас сверну за угол, не замечу ли краем глаза свою уходящую спину? К чёрту, сжечь проклятые картинки!

И тебя, ведьма!

Оленька всерьёз надеялась, что остаётся невидимой. Дело не только в том, чтобы ловко прятать концы интриг, страшась наказания. Она вообще не хотела, чтобы кто-нибудь смотрел на неё. В детстве и юности Оленька слишком сильно зависела от людей, а потом освободилась, но взамен пришло легкое презрение, будто вокруг лишь статисты в её играх. Она умела любить одураченных с особенной грустной нежностью, заботиться о них, как о детях, — они и были её детьми, вскормленными молоком иллюзии, и, если внезапно сменить им диету, могли погибнуть. Или, возможно, они наркоманы, которым не выжить без привычной дозы обмана, слабоумные и нестрашные.

А боялась она иного — чужих холодных глаз, которые попытаются рассмотреть её, настоящую. Оленька соглашалась предстать злой, подлой, безобразной — но только если сама решит показаться именно такой, проконтролирует отражение в зеркале. Но вдруг кому-то удастся сморгнуть ворожбу и увидеть — бог знает что, — слабость, некрасивую жадность, какой-нибудь неудачный ракурс лица или характера, или другое, чего сама за

собой не подозревала. Нельзя, чтобы под духами учуяли её настоящий запах.

И во что это выльется, чем её накажут, она не знала. Разлюбят, унизят, посмеются? Неизвестно, одно только понятно — хорошего не будет. И Оленька чувствовала, что ей в тысячу раз проще колдовать и путать следы, чем однажды встретить и вынести прямой взгляд наблюдателя.

Как-то сказала Паше:

— Я, знаешь, очень понимаю самураев. Когда их кто-нибудь оскорблял, они себя убивали. Потому что не могли после этого жить. Вот и у меня первое побуждение — умереть.

— Здоровая реакция на оскорбление — агрессия.

— Так то здоровая. А самураям честь не позволяла жить униженными.

— Ты, деточка, путаешь. Они, видишь ли, мыслили себя частью клана и считали, что в случае чего должны себя отсечь, чтобы позор не перешел на их господина, или как там у них было, я не силён... А то, что у тебя, это обыкновенная гордыня. Но я прослежу, чтобы тебя никто не обидел.

Не ответила тогда, но подумала: ведь бывают ещё ронины.

Глава 5

— Дошло до меня, о великий царь, будто жил в нашем городе купец, богатый, удачливый, видом и нравом благородный, жён имел и наложниц... Не, я затрахуюсь в таком стиле рассказывать. Короче, был чувак и, всё у него было. А ко всему — жена и стадо любовниц. Он их всех любил, как умел, а они между собой грызлись и его грызли, потому что сосать молча — это путь настоящих мудрецов, а они были простые любящие женщины. А любящая женщина хочет сам знаешь, чего — не денег и секса, это слишком просто, а чтобы весь был только её. И представь: зимним вечером приезжает он домой, там жена смотрит скорбно; отправляется к блондиночке в пентхаус — она ему катает истерику; сбегает к рыженькой в загородный замок, а в голову с порога тарелка прилетает. И все хором: «Я тебя люблю, а ты!!!» И одно только спокойное место для него есть, галерея, где он хранит картины и всякое красивое барахло. Потому что превыше всего на свете этот человек любит искусство. Я бы даже сказала Искусство с большой буквы.

И глубокой ночью он туда, наконец, доезжает, на ступеньках снег нетронутый, открывает хитрый замок на двери, со всякими там распознавателями отпечатков и сетчатки; включает какой-нибудь рубильник, и по всем длинным залам начинают лампы вспыхивать, одна за другой так — чух! чух! чух! И он ходит и смотрит, ходит и смотрит. А потом поднимается по крутой узкой лестнице, открывает ещё одну дверь, совсем уж секретную, а там комната белая-белая, а посреди стоит его единственная главная любовь — бронзовая борзая. Ну, статуя. Такая, знаешь, не очень крупная, меньше натуральной, но в ней каждая жилочка поёт и мчится — вот такая. И он подойдёт, обнимет её, а потом сядет в углу, марочкой закинется и смотрит, смо-о-отрит.

— А он прочит при этом?

— Ну, не без того. Но вообще у них всё чисто платонически, без всякого там.

— Так и живёт?

— Не, какая сказка без финала. Его все мучают (или он всех мучает — как посмотреть), жизнь идёт, идёт, запутывается, и однажды в этой белой комнате собираются все его актуальные бабы: жена, две любовницы, ещё новая какая-то девочка восхищенная... И они все сидят и глядят на него — с любовью. Даже бронзовая борзая, и та голову повернула, смотрит выжидательно. И он тогда открывает окошко, выбрасывает косяк, лезет на подоконник и того...

— Разбивается?

— Не-а. Улетает.

— Как птичка?
— Ну, как толстененькая тяжёленькая птичка, сначала низенько-низенько, а потом ничего так, высоту набирает, и над городом, между труб и мачт, к северу.
— Почему к северу?
— Потому что скоро лето, снегири улетают.
— А бабы чего?
— Бабы расходятся плакать и делить имущество. А бронзовая борзая остаётся одна, вскидывает острую морду и воет.

Ой, девка, повезло тебе в жизни — за обманищиком-то замужем быть. Ведь он тебя, дуру, бережёт. Душу свою бессмертную на фантики меняет, чтобы тебя не тревожить. А на это мало кто готов, они же всё норовят по правде, по-честному. Придёт такой вечером домой, лица нету и молчит. Час молчит, два молчит, а потом возьмёт да и вывалит всю правду на стол, как орехи. Целую гору орехов, круглых и твердых: захочешь разгрызть — зуб сломаешь, а кинешься убирать — рассыплешь Раскатятся, разбегутся по полу так, что не шагнуть, того гляди наступишь. И через год, бывает, пойдёшь босая, а он откуда ни возьмись под ногой, и вопьётся. Пустяк вроде, а больно. Так и правда его по всей жизни разлетится и затеряется, будто и не было ничего, а потом однажды ступишь беззащитно — и напомним, до самых печёнок проберёт.

А обманищик что — он вроде как с конфетами заявится, улыбнётся и кучей выложит... Ты на шоколадную конфету наступала? Липко, скользко и противно маленько, а так ничего. И пахнет сладко, не говно, жить можно.

Паша собрался уехать на пару дней по неинтересным и неназываемым своим делам, и Оленька тревожилась: она любила одиночество, но терпеть не могла спать в пустом доме, несмотря на хорошую охранную систему и службу, живущую в соседнем здании. Её пугали вещи, против которых сигнализация бессильна: порывы ветра, ударяющие в окна, странные звуки, полёвки, которые иногда прибегали поздней осенью в поисках тепла.

— Одна ночь всего, потерпи. Мальчика своего пригласи, пусть с тобой побудет.

— Катя ему плешь проест потом. Но я спрошу, конечно.

Оленька обрадовалась. Она бы всё равно позвала Клевера, но с Пашиного разрешения выходило как-то аккуратнее.

В ночь перед отъездом Оленька не находила себе места, представляла катастрофы, несчастные случаи, в ней просыпалась привязанность к мужу, которая обычно дремала под слоем терпеливого добродушия, её тело заранее начинало тосковать, а сердце — вдоветь и томиться по нему, который вот-вот уедет, забрав с собой покой и защиту, а потом возьмёт вдруг, да и не вернётся. «Да, если он не вернётся, пропадёт, и я пропаду, обессилю. Что я без него? Со своими дешёвыми хитростями, страхами, стареющим телом и никчёмной душой — без его верности и прямоты». Десять лет уже было их браку, а она только недавно поняла, что больше не считает этот дом временным пристанищем, и мужчина, бывший всего лишь средством, стал единственным, чем стоило дорожить. Никакой из неё был мифотворец, негодный ЭмСи, беспомощный демиург — если не было за спиной опоры. Осознание ослабляло её — и делало счастливой. Ещё в юности она где-то услышала фразу, что мужчина управляет миром, который стоит на ладони у женщины, и, однажды восхитившись величием картины, так себе и представляла идеальную жизнь. А теперь эта мысль всё чаще казалась ей пошлостью. Может, Клевер и пляшет под её дудку, а Пашу иногда удаётся сбить с толку, но всё-таки перед его преданностью всякие игры как-то мельчают.

Она встала на рассвете, чтобы его проводить, вышла за порог, накинув драный рыжий полушубок, купленный в самом начале их совместной жизни.

Лето в тот год случилось дождливое, и они внезапно сорвались и улетели в Турцию,

которая, впрочем, радости не принесла — оказалась для Оленьки слишком жаркой и шумной. Большую часть времени она проводила в номере, купалась рано утром и совсем не загорала. Несколько раз выбирались в ближайший город, но солнце в нём было совсем невыносимым, и спастись от него получалось только в многочисленных полутёмных лавках — а там их брали в оборот торговцы. Оленьке хотелось визжать, когда они подходили слишком близко и заглядывали в глаза. Но улицу заливал жестокий белый зной, в кафе ей не нравился запах, и поэтому каждые четверть часа приходилось сворачивать в ювелирный магазинчик или меховой салон.

Юноша ведёт их вниз по лестнице, в небольшой прохладный зал, увешанный шубами, и передаёт пожилому турку, который выходит навстречу, и начинает свой «танец продавца», и чем-то завораживает Оленьку так, что она не пытается немедленно сбежать, а садится на коричневый кожаный диван и соглашается выпить чаю.

Мужчины степенно беседовали между собой, будто никого не интересовала возможная сделка, — просто один уважаемый человек зашёл к другому уважаемому человеку. Но разговор плавно перетёк на погоду, холодные московские зимы и тёплую одежду, и турок впервые посмотрел на Оленьку:

— Жена?

— Жена.

— Жену надо баловать. У меня их три: одна по закону, одна по любви и одна для жизни. И всех одень, всем подари.... Что хочешь?

— Полушубок, — неожиданно решила Оленька, — рыжий.

Он встал и легко закружился, сдергивая с вешалок пушистые шкурки, набрасывая ей на плечи то чернобурку, то норку, то песца. Но Оленька хотела рыжую, и он достал откуда-то недлинную куртку с капюшоном. Она надела, взглянула в зеркало, едва заметно кивнула Паше и вернулась на диванчик, пить чай, а мужчины принялись торговаться.

О, как это было прекрасно: турок, не теряя достоинства, рассказал им о тяготах всей своей жизни, нарисовал на обрывке обёрточной бумаги краткую схему мехового бизнеса и набрал на калькуляторе четырёхзначную цифру — цену. Паша взглянул мельком и прикрыл нолик. Турок ужаснулся, разделил начальную сумму на два — «только для тебя». Паша снова внёс коррективы. Турок демонически расхохотался ему в лицо. Паша пожал плечами. Оленька вздохнула, отставила чашку и встала:

— Уходим?

— Что ж, не договорились.

Но торговец вскрикнул как раненый:

— Нет! — заметался. — Как тебя зовут?

— Оля.

— Оля. Я учился в Москве, помню — О-лень-ка. И вот что я скажу тебе, — он снова накинул на неё курточку, — сто женщин были тут до тебя, сто! Все мерили. И никому так хорошо не было, как О-лень-ка! Никому! Твоя! Э, себе в убыток отдаю. — Он снова набрал на калькуляторе цифру, трёхзначную.

Паша посмотрел на Олю и достал деньги — на пятьдесят баксов меньше, чем запрошено.

— Последние отдаю.

— Бедные мои жёны, бедный мой бизнес, — запричитал турок.

— В Москву пешком пойдём, — грустно подпел Паша.

Турок взял доллары, пересчитал и картинно швырнул на пол:

— Деньги — ничего, бумага. Главное — человек.

Сложил покупку в пакет и отдал Оле.

Они вышли на улицу, солнце стало чуть милосерднее, Оленька окончательно повеселела. Для очистки совести спросила:

— Ты ведь понимаешь, что она не стоит и половины? Они там, наверное, пляшут сейчас на радостях.

— Ага. Но никому в ней не будет так хорошо, как Оленька. Как же не купить? Да и повеселились мы неплохо, так что за спектакль, считай, заплатили.

И почему-то даже после стольких лет и десятков путешествий по разным странам она не забыла лёгкости, охватившей её тогда, нежности к смешному и чужеродному миру, в котором нигде нет для неё дома, но везде может быть хорошо — иногда.

А теперь эта куртка висела возле двери, уже порядком облезшая, но Оленька всё не выбрасывала её, хранила, хотя чувство собственной бесприютности, прежде казавшееся вечным, покинуло её, видимо, навсегда.

Проводив Пашу, она вернулась в постель — досыпать. Проснувшись в полдень, всякие сентиментальные мысли её уже оставили, она позвонила Клеверу, чтобы договориться о вечере. Так было всегда: насколько разрывалось её сердце до разлуки с мужем, настолько же успокаивалось после его отъезда, и когда Паша возвращался, Оленька встречала его отчуждённо. Буквально за три дня она успевала пережить всплеск привязанности, отвыкнуть и позабыть, а потом долго вспоминала и приучалась снова быть его женой. Паша об этом её свойстве знал и старался без нужды надолго не отлучаться.

— Кажется, если я уеду дней на десять, ты окончательно меня забудешь.

Оленька считала, что это всё следствие крайней чувствительности: расставание давалось слишком тяжело, потому происходило какое-то замыкание, перегорали пробки, и дальше страдать она уже не могла.

Очень удобное свойство психики — по крайней мере, для неё.

Но иногда короткая послушная память предавала её, жестоко и страшно. Случайный привкус или запах могли вызвать из прошлого демонов, которые, казалось, давно истаяли. Пару дней назад она шла по Столешникову, гуляя от бутика до бутика, и где-то на середине вдруг поскользнулась: мраморную плитку перед тяжелыми дверями только что в очередной раз помыли. Оленька неловко покачнулась, и сразу, без паузы, на неё обрушилась паника. Она почувствовала, что не только не в состоянии сделать шаг, но и стоять не может, — едва попытаешься переместить вес тела, как уже убегает земля.

И память немедленно швырнула её назад, в одну из ледяных зим детства. Оленьке тринадцать, и она идёт в школу в светло-коричневых осенних сапогах на тонкой подошве. У неё маленькая нога, даже сейчас едва доросла до тридцать шестого, а тогда была гораздо меньше, и крошечные ступни с высоким женственным подъёмом прятались в рассыпающейся обуви на вырост. И это не от бедности — точнее, не от их семейной бедности, а просто во всей большой стране не найти женской обуви размера тридцать два—тридцать три. Попадались, правда, страшненькие детские боты, на плоские утиные лапки, на её подъём не налезали. И поэтому донашивала за тётушкой эти осенние сапоги тридцать пятого, на семисантиметровом каблучке и со стёртой до гладкости подошвой.

И всё время падала. Это немного смешно... Да что там, это очень смешно, когда девочка на подламывающихся ножках валится через каждые десять шагов. Тоже нашлась модница, нацепила каблучищи...

Утром ещё ничего, за ней заходила подруга Вера, и Оленька ковыляла до школы, держась за неё. А после уроков начиналось самое стыдное. Вера не спешила домой. Иногда казалось, что она понимала Олин страх и знала свою власть. Неторопливо обедала, а Оленька ждала в вестибюле — почему-то не умела есть в столовой. Потом подруга шла на какие-то дополнительные занятия, и Оленька снова ждала. А потом Вера выходила, в таком же сером пальто с меховым воротником, как и у неё, и уже на улице, когда спускались с обледелых гранитных ступеней, говорила: «А я не домой, мне на музыку» и брезгливо выдёргивала рукав из Оленькиных судорожных пальцев.

И Оленька шла: до угла нормально, тамошняя длинная клумба редко замерзала, почти всегда на ней лежал снег, в который легко вонзать каблучки. Дальше непростой выбор.

Можно через спортивную площадку, не очень скользкую, но стоящую на возвышении, и влезать на неё надо не то что по лесенке, а просто по крутой ледяной горке (на четвереньках она бы вскарабкалась, но на виду всей школы! девочке!). Поэтому лучше вдоль забора, перебирая холодную металлическую решетку красными руками (варежки теряла в самом начале зимы, в первых же сугробах), обогнуть площадку, удлиняя путь. И она выходила на финишную прямую: долгая-долгая стеклянная дорога, и слава богу, что ждала Веру, одноклассники все давно разошлись, и никто не засмеётся в спину.

Левой на мысок, правую боком вперёд, наступить плотно. Левую вперёд, правой осторожно. Десять шагов, убегает земля. Десять шагов, уезжает нога. Десять шагов, тяжёлый портфель летит в сторону. Десять шагов, чёрный лёд ударяет в бедро. Десять шагов, в локте звон. Десять шагов, и она снова шут гороховый, с бубенцами в висках.

Вообще-то у неё были ещё одни сапоги, тоже тетины, зимние. Очень стоптанные, но удобные, под шерстяной носок — всего на размер больше, на невысоком кожаном каблучке, который весь расслоился так, что виден стальной стержень-основа. Мама, когда заметила, оживилась:

— Надо махры-то срезать и попросить Иванова, он на станке такую штучку из металла выточит, как стаканчик, на штырь этот накручиваешь, и сносу нет!

У неё всегда было полно идей, и она спешила воплотить их в жизнь. Слишком спешила. И однажды утром Оленька, собираясь в школу, достала из кладовки сапоги, посмотрела и заплакала. Конечно, сначала орала мерзким подростковым фальцетом, а потом уже плакала ядовитыми слезами — глядя на тонкую стальную спицу, торчащую из каблука. Ночью мама не утерпела и отпилила кожу на две трети, остался пустяк — попросить Иванова выточить стаканчик.

Тогда Оленька почувствовала, что в груди раскрылось квадратное чёрное окно, ненависть вырвалась, как горячий шар, и полетела прямо в маму, в белое горло, в едва заметное розовое пятно между грудями. (Через несколько лет, когда у мамы стало болеть сердце, Оленька вдруг вспомнила этот случай и с удивительной ясностью поняла: «Это я её прокляла тогда».)

Потом отыскала в куче обуви ту осеннюю пару и ушла в школу. А назавтра опять подморозило. К концу зимы она неплохо научилась падать.

В следующем году где-то, наконец, достали сапожки почти как раз, «на манной каше», и Оленька всё забыла — надолго.

А посреди безмятежного Столешникова — вспомнила. Не стала закрывать глаза, не стала махать руками, пытаясь сохранить равновесие. Сквозь подошву ощупала нежно плитку, огладила ногой и чуть замедлила её ускользание. Левой на мысок, правую боком вперёд, наступить плотно. Левую вперёд, правой осторожно.

Мрамор кончился, Оленька ступила на асфальт, огляделась и заметила витрину с туфельками. Вошла в салон, опустилась в большое кресло и сказала девушке, услужливо сгустившейся из воздуха:

— Мне нужны самые удобные на свете сапоги.

И теперь они стояли в прихожей, безуспешно прикидываясь «просто обувью», но стоило их надеть, как ноги превращались в мягкие бесшумные лапы, и походка делалась хищной и легкой, а сердце навсегда освобождалось от прошлого.



Оленька отыскала в баре красивую квадратную бутылку, в которой плавал противного

вида белый червяк с коричневыми трупными пятнами. Хотела было поставить на место и взять что-нибудь привычное, виски или коньяк, но Клевер страшно обрадовался и рассказал, что эта штука называется мескаль, изготовлена из голубой агавы, а червяк на самом деле — аутентичная гусеница, которая при долгом хранении должна оставаться белой или менять цвет незначительно. Будто бы индейцы, которые никогда не чистят зубы, но зато регулярно натирают дёсны кокаином, жуют кактус, а потом выплёвывают его в котелок и варят три дня. И в каждую бутылку подсаживают червяка — индикатор качества и фирменный знак.

Языки развязались после пары стаканчиков, вещество с копчёным привкусом создавало ощущение ясности и особенной яркости картинки, будто где-то рядом есть ещё один источник света — кроме шести свечей, стоящих вокруг дивана. И хотелось выражаться просто и точно, называя правильными именами всё вокруг. Поначалу они обсуждали дурман, но Клевер внезапно прервал путаное перечисление химических свойств и стал говорить, что может приползти змея или прибежать койот, а иногда прилетает серебристый ворон, и его боятся обыкновенные чёрные вороны и даже сокол. Как-то вдруг посреди типичного кастанедовского трёпа, немного постыдного между людьми за тридцать, он сказал, что стемнело и отвар томится на костре, в котелке с горлом поуже, чем обычно; что кружка не то что глиняная, а вообще может быть жестяная; что вечер теплый, и он сидит на крыльце и смотрит на тень мотылька на земле — как бьётся о фонарь, и слушает шорох его крыльев.

А Оленька тем временем встала и подошла к шкафу, нашла старое махровое полотенце, высушенное на батарее и оттого жесткое, взяла с подзеркального столика жёлтое масло в стеклянном флаконе совершенной формы, вернулась к дивану и опустила на пол. Постелила полотенце на колени, взяла его ногу и вылила несколько капель масла на узкую безволосую ступню. Втёрла в шершавую пятку, упирая пальцы ноги в полуоткрытую грудь (тут необходимы притяжательные местоимения — его ноги, в свою грудь, — чтобы не изобразить случайно диковатый акробатический трюк), прикоснулась волосами к голени, словом, близко к тексту проделала библейский ритуал — сначала с левой, а потом с правой.

После поднялась и поцеловала его в губы, испытывая огромное сострадание: он скоро должен уйти, она так больно чувствовала это, переполняясь тоской, почти столь же острой, как при утреннем прощании с мужем. Они все уходили, а она оставалась, вечная, как камень. Из своего одиночества она обняла его, как могла нежно, и между ними произошло всякое, в том числе и то, чего никогда прежде не случалось.



Утро наступило для них очень поздно, они решили позавтракать на природе и долго бродили по дому в поисках еды, корзинки для пикника, одноразовой посуды, подстилки и бог знает чего ещё. Потом ушли далеко-далеко, выбрали последний сухой островок на земле и уселись на нём, спина к спине, и долго так оставались, глядя каждый в свою сторону. Оленька видела широкое посеревшее поле, уже совсем стылое, неживое, которое уходило в низкое отяжелевшее небо и смыкалось с ним. А что видел Клевер, она не знала. На её щеку упала чужая холодная слеза, потом ещё одна, и тут он нарушил молчание и сказал: «Снег». Он сказал: «Снег, это к радости, давай поедим». И они поели, а потом вернулись в дом, а там оказалось, что Паша уже приехал.

Он, как всегда, привёз подарки и бодрость, и громкие разговоры, за обедом рассказал какие-то новости, и Клевер вполне достойно ответил, по-мужски обсудил с ним политику и экономику, и прочие пустяки, которые помогают людям чувствовать свою значительность. Оленька умилилась их важности и, встав из-за стола, ушла к себе, а они отправились в кабинет, чтобы что-то там поискать в интернете. Она быстро соскучилась одна, заглянула к

ним, но решила не мешать и осталась в библиотеке. Села, не зажигая ламп, в широкое кресло, укрылась пледом и немного послушала, как за приоткрытой дверью серьёзничают её мужчины; чуть погодя задремала. Успела даже маленький сон увидеть: будто в неширокую буйную реку с обрыва сыплются большие красные яблоки и плывут, сталкиваясь, крутясь, сияя мокрыми яркими боками.

Проснувшись от тонкого звона. Немедленно всплыл колокольчик фарфоровый в жёлтом Китае, но сразу сообразила, что это звук бокалов — парни решили за что-то выпить. Хотела крикнуть: «А мне, а мне», но тут Паша произнёс:

— Что ж, поздравляю. Кончила, значит.

— Я уже думал, что мне её не раскрутить.

— Она девочка не холодная, но с причудами.

— Я заметил, — Клевер помолчал. — Паш, я всё спросить хотел, тебе в самом деле всё равно?

— О чём ты?

— Ревность, типа, и всё прочее...

Возникла такая пауза, что стало ясно — этого лучше было не говорить.

— К тебе, что ли?! Не смейся. Она тебя бросит после этой ночи, не в первый раз. Потом другого найдёт, а я уж позабочусь, чтобы у них всё было хорошо...

— Что ж, я не против. Катя уже извелась вся, она ж не такая продвинутая, как вы, ревнует. Уедем с ней в Таиланд какой-нибудь на зиму или в Марокко, апельсины жрать.... Только я всё равно так и не понял, тебе-то это зачем? Типа, бодрит? — Похоже, мескаль ещё не выветрился, а коньяк, или что они там пили, добавил хмеля, и Клевер явно нёс лишнее, но остановиться не мог.

— А мне, мальчик, Оля нужна спокойная и довольная. Если ей понадобится слона купить — куплю, а если, к примеру, голову твою захочет в подарок — отрежу и подарю.

— Будем надеяться, до этого не дойдёт. Тогда, раз пошла такая пьянка, скажи, зачем ты от неё скрываешь, ну, что знаешь про всё? Не проще ли поговорить один раз, пусть делает что хочет.

— «Чё хочешь» не интересно. «Оксану Ключеву» помнишь? Ей же хитрить надо без обману дня не проживёт. Так пусть лучше по мелочи, с тобой шалит, чем интернет баламутит. Думаешь, ты бы продержался так долго, если бы не эти игры? Два месяца, не больше, а потом ещё на кого-то переключилась бы. А я, видишь ли, блядства не люблю. Да и при большом трафике могла влюбиться в кого-нибудь, девочка чувствительная, а с тобой это не грозило.

— Н-ну, как посмотреть...

— А тогда и смотреть нечего. Пришлось бы тебя убить, — слышно было, что Паша улыбается, — ты коньяк-то пей, пей.

Её всё-таки увидели. Наблюдатель давно выбрался из самых потаённых её страхов и в прямом жестоком свете неторопливо рассмотрел все трюки, морщинки, слабости. Без нужды не унизил, пощадил, только смеялся. Не было у неё никакой власти, она оказалась самой плохой обманщицей среди окружившей её карнавальной толпы, а уловки сводились к тому, чтобы падать на спинку, повинаясь беззвучной команде «Умри, лиса», свято веря, что всех перехитрила. Так бы и жила одурманенной, но то ли мескаль над ней сжалился и поделился ясностью, то ли просто время пришло.

Оленька бесшумно встала, тихо выбралась из библиотеки, секунду подумав, надела старую меховую куртку, обулась и выглянула за дверь.

Пока она спала, на землю лёг снег, двор стал весь белым, только от задней двери шла цепочка следов к домику для obsługi. Оленька вышла за ворота и аккуратно их притворила — охранную систему ещё не включали, и ухода никто не заметил. Она огляделась: мир

вокруг был безупречен.

И она побежала.

Она бежала по белому снегу, не оглядываясь, долго-долго. Спустилась ночь, и по чёрной земле, и по сухой траве, и снова по снегу неслась она на восток, по полям и дорогам. Мимо, мимо мчалась вереница огней на шоссе, позади оставались одинокие дома и деревья. Когда перед нею вставало солнце, она пряталась в подлеске, подальше от людей, но в темноте снова бежала, огибая города и деревни, спешила за синие леса, за высокие горы, — никто не замечал маленькое рыжее тело, летящее стрелой и не случилось никого, кто разобрал бы, остаются ли следы на белом снегу.

Примечание 1 Смерть библиотекаря

(Рассказ Оленьки для Укропова)

Солнце редко заглядывало в деревню Малые Афедроны. Пупыряев смотрел на улицу сквозь немытое оконце и ждал. В два часа вечно пьяненькая Потаповна нетвёрдой походкой пройдёт мимо библиотеки в сторону селпо — за опохмелом. Жители деревни так обленились, что даже перестали гнать самогон. Через день по чётным Потаповна брала пол-литру «Привета», которой хрупкому бабкиному организму хватало аж на двое суток. Десять раз по пятьдесят, а там и за новой пора.

Пупыряев ждал бабкиного явления просто так, чтобы сверить часы и убедиться, что всё в этом мире идёт своим чередом. И каждый раз он находил в этом некую трагическую усладу: мир катится, как идеальное колесо в вакууме, чудес не происходит, и он, простой русский интеллигент в очках, никогда не сможет ничего изменить.

Судьба библиотекаря в крошечной деревне не может быть счастливой: ненужный и непонятый, он сидит среди пыльных книг, которыми интересуются только крысы да бабы, ищущие, чем бы растопить печь, авторитета ноль, будущего нет. Да и прошлого не было, если разобраться. Окончил школу четверть века назад, в армию не попал по слабости здоровья, из Малых Афедронов ни разу не выезжал, не женился, не состоял. Как пристроился к книжкам, так среди них и прожил.

И сейчас он наблюдал шествие Потаповны и в многотысячный раз мысленно взывал к Богу, в которого не верил: «Да сделай ты, блядь, хоть что-нибудь!» Но Бог тоже обленился и не желал даже взгляда бросить на скромного библиотекаря. Пупыряев сплюнул и собрался было отвернуться, но уловил за окном какое-то движение. Так и есть: Потаповна взмахнула руками и повалилась, совсем, видно, спиваться стала. Пупыряев подождал, но старуха не вставала, и он, ругнувшись, выбрался на крыльцо.

Она лежала на боку, подвернув правую руку, и смотрела в небо, на лице застыло крайнее удивление, пыльный тапок с левой ноги соскочил и валялся поодаль. Пупыряев нагнулся, тронул бабку за плечо — вроде жива.

— Ты жива, Потаповна?

Голубоватые губы шевельнулись.

— Чё? — он нагнулся пониже.

— Ку... ку-дыть... — прошелестело ему в лицо, и с этим бессмысленным словом душа Потаповны отлетела.

Поминали покойницу всей деревней, и как всегда, приличная печаль первого часа застолья перешла к вечеру в трудное пьяное веселье, но Пупыряев был грустен и время от времени, забывшись, трогал щёки: всё казалось, будто серая старушечья душонка прикоснулась к нему напоследок и что-то нашептала. Неожиданно даже для себя он встал и позвенел вилкой по полупустой бутылке:

— Товарищи!
— Тамбовский волк тебе... — захихикал дед Семён, разливая.
Пупыряев сбился и начал снова:
— Граждане!
— Да вроде не на зоне, четырёхглазый, — угрожающе прохрипел бывший сиделец Витюша.

Пупыряев струхнул.
— Люди! — На этот раз возражений не последовало. — От нас ушел светлый человек... — Тут он запнулся, ему показалось, что серая тень снова мелькнула мимо. Потекли долгие секунды, за столом стало тихо, будто где-то мент сдох, и в эту тишину Пупыряев неожиданно веско произнёс:

— Никчёмный человечешко от нас ушёл, вот что. Жизнь у неё была дурная и грязная. Ни работать она не умела, ни отдохнуть как следует, ничего, кроме пьянки, ей не давалось. Детей родила да не воспитала, сколько было, все сгинули, и к лучшему оно, потому что дураков плодить — только мир пачкать. И так в говне живём, нету просвета и не будет, и дорогу к нам из райцентра не прокладут во веки веков.

Пупыряев лихо выпил водку, но садиться не спешил. Со всех сторон на него смотрели почти протрезвевшие лица, рюмки одна за другой со стуком опускались на стол — полными.

— Ты за базаром-то... — Витюша начал медленно подниматься.

— Не по-людски ты это, не по-людски... — затянула Евдоха, главная врагиня Потаповны.

Пупыряев постоял, потом безнадёжно махнул рукой и вышел. Стемнело, первые звёзды уже показались, и Пупыряев, вместо того чтобы повернуть к дому, зашагал к околице. Шёл он, задрав голову к небу, разглядывая густые синие бездны, и в ушах у него звенели незнакомые голоса, и что-то низко гудело так громко, что он не слышал топота за спиной, и тяжелый удар по затылку стал для него полной неожиданностью.

Били его долго и молча. Потом устали и разошлись, и только часа через два Пупыряев отнял руки от лица, перевернулся на спину и снова увидел небо, на этот раз совсем тёмное. Поднялся, ощупываясь, сплюнул зуб, оглянулся на спящую деревню и, шатаясь, пошёл в ночь. Где-то в чистом поле миновал перечёркнутый указатель «Малые Афедроны», но не остановился.

Утро застало его в пути, но он и не думал отдыхать, стремясь дойти до большого мира, где будут солнце и другая, прекрасная жизнь. И уже рассвело, и первые лучи прорезали облака, и впереди забелели стены домов, где наверняка жили светлые счастливые люди. Пупыряев прибавил шагу, но силы начали оставлять его, и он едва добрался до ближайшего столба с названием населённого пункта, блаженно привалился к нему: дошел. В глазах его стало темнеть, но он улыбался, потому что до последнего видел над собой надпись, наполняющую сердце ликованием: «Большие Афедроны»!

Примечание 2

В моей жизни немалую роль играют призрачные объекты: вещи и существа, которые однажды — как правило, в детстве и ранней юности — встретились, поразили в самое сердце и пропали. Один из первых — кукольный домик, увиденный в евпаторийском магазине игрушек. Мне было пять лет, и дом составлял примерно треть моего роста, он содержал в себе множество мелких предметов и производил невероятное впечатление. От восхищения я заболела на неделю, испортила родителям отпуск, а выздоровев, не нашла не только домика, но и самого магазина.

Чуть позже призрачными объектами часто оказывались книги. Например, чтобы достать воздушный шар, надутый в преддверии Первомая и залетевший на огромный одежный шкаф, я придвигала стул, влезала, тянулась, но вместо ниточки нашаривала толстый полурастерзанный том без обложки в котором успевала прочитать пару страниц,

прежде чем в замке поворачивался ключ. Или сестра приносила из библиотеки книжку, которую приходилось выкрадывать из её стола, — потому что я справедливо считалась слишком неаккуратной, и мне не разрешали дотрагиваться до ценных и чужих вещей.

И я торопливо выхватывала какие-то куски, которые воображение потом дополняло причудливыми деталями, и позже, когда стало можно всё — по крайней мере, прочитать, — я не встречала историй интереснее. Несколько раз удавалось найти «первоисточники», например, безумная книга, где говорящие рыбки убивали себя, прыгнув на горячую сковороду, оказалась вовсе не плодом моей фантазии, а вполне реальным «Орденом Желтого Дятла». Но кое-что так и осталось загадкой, в частности, сказка о лисице в доме с тысячью зеркал.

Не знаю, китайской или японской она была, а может — удачной стилизацией. Помню только несколько картинок, да и то не смогу сказать точно, были это иллюстрации или я так хорошо всё представила, и слова сложились в образы. Нервная рыжая лиса, забредшая в чужой дом по своим хитрым делам, хозяйничала в полной уверенности, что её никто не заметит. Вдруг уловила краем глаза движение в соседней комнате и отчего-то не удрала, зашла — и оказалась в плену множества зеркал, каждое из которых отражало её — сзади, сбоку, сверху, во всех подробностях и в столь неожиданных ракурсах, в каких она сама себя не видела, несмотря на дивную лисью гибкость. И зрелище это оказалось столь невыносимым, что она упала замертво. Но дух её не смог освободиться и остался в комнате. Через тысячу лет туда заглянула женщина — и вышла с душою лисицы.

И далее описывались какие-то приключения не столько женщины, сколько лисьего духа, стремящегося к безупречности, — наверное, чтобы не так страшно было отражаться в тысяче зеркал.

Этой книги, как и некоторых других, мне так и не удалось найти. Но если остальные позабылись, история о жене-лисице так и осталась в памяти, время от времени напоминая о себе почти мучительно, будто она — утерянный факт моей личной биографии. И вот теперь я хочу воспользоваться собственной книгой, которую могут прочитать тысячи: вдруг среди них найдётся человек, который держал в руках ту, первую, и если он окажется милосерден, то сообщит, чем всё закончилось? Обрела рыжая душа покой и безупречность или в страхе бежит до сих пор?

Тому, кто даст мне ответ, я буду бесконечно благодарна.

Записки у плеча

Всего однажды я имела друга мужского пола, и это были самые напряжённые и страстные отношения в моей биографии. Иногда я тоскую по ним настолько, что рядом начинает формироваться воображаемый друг, потому что настоящего, в отличие от любовника, невозможно завести волевым усилием. Он как-то сам вырастает, если достаточно долго продержат вместе две жизни, переполненные одиночеством, нежностью и свободным временем. Мне некогда и не с кем этим заниматься. Но я скучаю. До такой степени, что иногда хочется написать очередную бесконечную книгу и назвать её «Записки у плеча». И чтобы эти мои героини существовали где-то в середине октября, и я бы всё писала одну и ту же дорогу к метро, узкий тротуар, деликатно присыпанный листьями, — потому что дворники всё-таки стараются, — сумерки, мокрый асфальт, позолоченные лужи, фонари и дождь, который не идёт, но всегда подразумевается.

Мне совершенно всё равно
Где совершенно одинокой
Быть.

Марина Цветаева

Я всегда хотела иметь взрослого друга. Ах нет, я лгу, а это недопустимо — не вообще,

но хотя бы не в первой строчке. До недавнего времени взрослые меня не интересовали, а друзья и вовсе были не нужны. Мне хотелось проводить свои дни с юными мужчинами... нет, раз уж я решила быть точной: проводить свои вечера с юными мужчинами, свои ночи — одной, свои утра — во сне, а дни — на прогулках. В последние годы, впрочем, появились какие-то дамы. Вдруг для меня открылся женский мир, прежде враждебный и неинтересный. До этого, когда нужно было уладить какие-то проблемы, я немедленно отыскивала глазами мужчин, которых можно обольстить и которые всё устроят. И они, в самом деле находились и всё устраивали. А на недовольные тени за их спинами я даже не смотрела.

А потом я соскучилась и стала всё делать сама, и эти бледные тени восьмёрками вдруг выступили из-за треугольных силуэтов, обрели плоть и оказались вполне дружелюбными и в разы более надёжными, чем мои бывшие союзники. И теперь я сразу высматриваю женщину средних лет, с которой можно объясниться несколькими фразами и взглядами — без всякого эротического подтекста, а точно по делу, и огонёк в её глазах будет означать только одно: она поняла задачу и жаждет решить её как можно лучше. Даже если задача — принести мне самый интересный десерт в этом кафе, не говоря уже о серьёзных и скучных поводах, по которым я прихожу в присутственные места.

В предыдущем абзаце я опять солгала, но разбить ритм немедленно оказалось выше моих сил, поэтому уточняю здесь: не «соскучилась», конечно. Меня просто чуть ли не впервые в жизни как-то ловко не полюбили, и разочарование было столь велико, что я отвернулась от них, от всех этих больших жёстких мужчин, и попыталась спрятаться в нежном женском мире, утешиться в мягком, укрыться за широкими юбками, заснуть в тёмном шкафу, пока там, снаружи, меня потеряли, но, к сожалению, не ищут.

Конечно, мне даже в самой глубокой печали не приходило в голову отказываться от секса. Но я подумала, что если не могу спать, с кем хочу, то какая разница, с кем. То есть, по-прежнему, с мужчинами — это технически удобнее, но уже не важно, с какими. Мне никто не нравился (точнее, единственный, кто нравился, был недоступен), и пришлось спать хотя бы с теми, кто не неприятен.

И я как-то смирилась со своим бедственным положением, — потому что это бедствие, если задуматься, — и заменяла любовников, следуя логике нетрудного пасьянса, а не собственным симпатиям и антипатиям. И однажды выбросила из расклада бубнового валета, заместив его крестовым королём. Была уже осень, и мелкие карты рыжей масти осыпались с деревьев, ложились под ноги, и мне показалось красивым, если следующий онёр будет темнее и старше предыдущего.

Наша первая постель стояла на остывшей поскрипывающей даче — я никогда не приводила этих одинаковых посторонних людей в свой дом, который пустовал с тех пор, как меня не полюбили. Твёрдо уверена, что можно спать с кем попало, но нельзя пускать кого попало домой — так и мама говорила (но про секс она не упоминала, поэтому пусть). В их квартиры я иногда приходила, но у этого были какие-то обстоятельства, поэтому мы сговорились поехать для первого раза за город. Я всегда теперь сговариваюсь заранее, с тех самых пор, когда меня так ловко не полюбили, — потому что это экономит время, а я не хочу тратить на этих людей больше, чем необходимо. Всего — времени, сил, беспокойства, — всего по минимуму.

И, значит, за окном большая луна высвечивала голые ветки, свет её падал сначала на меня, а потом на этого человека, который лежал на спине, а я пристроилась у него на плече и следила, как высыхает наш пот на моём теле, перестают дрожать колени, как вообще всё внутри выравнивается. И тут, среди обычных физиологических ощущений, я поймала чувство, как ловят за хвост ускользающую полёвку на осенней даче.

Вытащила на свет и опознала позабытое: этот человек мне нравится. Я так привыкла к отсутствию симпатии, к равнодушию, которое быстро сменяется раздражением, что совершенно забыла самую простую в мире вещь: как это — лежать в постели с тем, кто нравится.

И увидела я, что это хорошо, да уж. Приподняла голову и посмотрела, какой он,

пожалуй, даже красивый, как кот в лунном свете. И умный. То есть при луне и голые почти все мужчины дураки — ну, кроме того, который не полюбил, — но я запомнила, что днём, в одежде, он казался вполне разумным. И мне немедленно захотелось болтать, это была вторая утраченная радость — я не болтаю с ними с тех пор, как меня тогда это самое, вы уже наверняка запомнили, что. Слишком много чести — сообщать им свои мысли, щебетать, показывая розоватые складочки глупости, изъяны логики и сырую яму со страхами.

А тут я почувствовала, что могу, как птичка, распеться у него на плече, и это было так чудесно, что я засмеялась. Засмеялась и сказала: пора.

Мы сели в машину, поехали в город и расстались очень нежно, гораздо нежнее, чем это бывало с остальными.

И я осторожно отнесла домой тепло, которое ощутила, проспала с ним всю ночь, а утром решила, что хочу иметь взрослого друга-мужчину. Именно чтобы щебетать — жаловаться, хвастать, задавать дурацкие вопросы, требовать утешения, и всё это — не поднимая головы от его плеча.

И поэтому всю долгую зиму, последовавшую за тем вечером, я записывала то, что хотела сказать этому человеку, — первому, который понравился мне с тех пор, как. Даже жаль, что каждую историю приходится начинать с безличного «знаешь, милый», — но я тогда не стала спрашивать имя, а теперь уже не узнать.



Знаешь, милый...

Письма луне

1

Дорогая луна, я сегодня гуляла и была безупречно полна — не толста, а наполнена. Насколько был пуст мой август, настолько же полным кажется предстоящий сентябрь. Все, кого я люблю, — со мной, если не рядом, то близко, а мне это важно.

Есть у моего сердца свойство: когда мужчина уезжает из города, я горюю так, что оно почти останавливается, ну, или замедляется уж точно. Он собирается, а я лежу на кровати и смотрю, и сил моих нет ни говорить, ни прощаться, а только не плакать. В другие дни я не позволяю чувствам сбивать меня с толку — разве случайно, спросонок, пока ещё не совсем в себе, услышу или увижу что-нибудь, что пробьётся сквозь самообладание. А так я крепкая.

Но когда он уезжает, меня покидает почти вся жизнь, а на её место ничего не приходит. Я лежу и не плачу, смотрю, как за ним закрывается дверь, слышу шаги, писк кодового замка, потом ничего не слышу.

А в этот раз было совсем плохо, потому что он уезжал, а у меня была встреча, лишняя бессмысленная встреча, полуделовая, полудружеская, с человеком, которого я едва различала при свечах. Официант, впрочем, был такой высокий, что я слегка оживилась и засмотрелась, и даже промедлила секунду, прежде чем сказать «зелёный, просто зелёный, без добавок». Но потом я всё теряла и теряла силы, сползала по столу куда-то вбок, трогала чайное ситечко на подставке, укачивала его, как колыбель, в которой бедовал остаток моей жизни. Но жизнь утекала сквозь мелкие дырочки, а я прислушивалась, хотя отсюда, из другой части города, нельзя было уловить ни шаги, ни писк кодового замка.

А потом он позвонил, сказал, что выезжает на вокзал, и ничего, что ты не успела меня проводить, это всё ненадолго, рабочий момент. Я прижимала телефон к щеке и радовалась,

что жизнь почти совсем вытекла и мне нечем заплакать здесь, в этом глупом месте при свечах. А тот человек, с которым мы ужинали, видимо, сошёл с ума или вдруг что-то для себя решил, потому что протянул руку и погладил меня по щеке, по шее, немного по груди, и снова по шее, и снова по щеке. И я, не переставая скулить и жаловаться в трубку, подалась навстречу этой человеческой руке и слегка прижалась — потому что очень горевала.

Потом, конечно, ушла.

А чуть позже он сел в поезд и позвонил, и ещё раз, когда поехал. И тут же стало немного легче, потому что, дорогая луна, у моего сердца есть и другое свойство: едва только поезд отрывается от перрона, меня отпускает тоска, и жизнь снова начинает возвращаться, медленно-медленно. И к следующему утру я уже снова почти полна и говорю в телефон чуть недовольно: «Доехал? прекрасно, возвращайся скорей».

Мне, дорогая луна, ничуть не странно и не стыдно, что сердце моё таково, я думаю, это называется двойственностью, и кому, как не тебе, знать всё об истощении и полноте, которая не толщина, а наполненность.

2

Боюсь, моё второе письмо понравится тебе гораздо меньше, дорогая луна. Весь день думала и решила признаться: вчера я тебя обманула насчёт встречи в ресторане. Точнее, наврала, — можно ли обмануть луну? — разве лишь попытаться, надеясь, что твои узкие тёмные глаза не заглядывают в залы без окон. Но тот высокий официант всё видел, поэтому я скажу: на самом деле немножко заплакала. Я запомнила одну или две слезы, потому что они скатились как раз на ту человеческую руку, ну, я писала — ту, которая тянулась ко мне, когда я говорила по телефону. И знаешь ли, что я сделала? Губами их стёрла, не переставая скулить и жаловаться. И официант теперь готов подтвердить, что мы любовники, — а как же иначе.

Потом, конечно, ушла.

Очень давно со мной было, в другой жизни, с другим мужчиной, который тоже уезжал, а я горевала так сильно, что пошла к его другу — куда же мне было ещё пойти? С тех пор я всегда стараюсь ни к кому не приближаться в эти часы. Как хорошо, что у моего сердца есть второе свойство и вся моя тоска — до поезда, а продлись она дольше — неизвестно, что случилось бы с верностью и всеми такими вещами.

Есть у моего сердца и третье свойство: когда мужчина, наконец, уехал, я перестаю о нём думать — вообще почти забываю и с трудом могу его вспомнить, когда возвращается. Не знаю, хорошо ли это, но зато знаю точно, откуда взялось: однажды мужчина — не этот и не тот, а ещё один... дорогая луна, можно, я просто буду говорить «он», потому что какая разница, когда я горюю, — о ком? Коротко говоря, уехал, и я ждала его пять лет, а он так и не вернулся. Я потом посчитала, мы были вместе пятьдесят два дня, а ждала я полторы тысячи, не меньше. И когда сосчитала, решила, что больше никогда ни одного дня не потрачу на ожидание. Поэтому после того, как поезд отрывается от перрона, я не просто перестаю тосковать, а совсем остаюсь одна — не временно, а навсегда, на всю следующую долгую жизнь. И сразу, буквально с утра, начинаю день одиночкой, с ровным сердцем, которое никого не хочет и ничего не боится, — чего уж теперь-то бояться.

И первое свойство, наверное, тоже отсюда: каждый раз я переживаю не отъезд, а смерть любви, а это не шутки, это гораздо больше, чем просто мужчина уехал. Она умирает, а я не знаю, что будет дальше, родится ли она вновь, когда он вернётся.

Это очень, очень серьёзно, дорогая луна, но никому невозможно объяснить кроме тебя, знающей всё о смерти и возрождении.

3

А третье моё письмо, дорогая луна, тебе не понравится совсем. Поэтому оно будет

последним, тем более дни твоей полноты на исходе, а кому охота переписываться с ущербной луной (это я тебя так уколола — за все глупости, что ты мне отвечала и ещё ответишь сегодня, если не обидишься окончательно).

Есть у моего сердца четвёртое свойство: иногда происходит затмение, когда душа перестаёт чувствовать своё тело. Не видит и мечется без приюта. Ты, которая всё знаешь об отражённом свете, наверняка догадываешься, как с этим справиться. Со мной так случалось всего дважды в жизни, и тогда приходилось находить себя через других людей — мужчин конечно, это проще всего. Из их любви и страсти потихоньку сгущалось моё тело, и там, где жар, там и я. Поначалу чувствуешь себя немного суккубом, а потом ничего, привыкаешь. Возможно, есть и другие способы, — йога, наверное, помогает, — но этот быстрее всех.

И я прямо вижу, как тебе хочется поговорить о верности и прочих таких вещах, как твои круглые щёки распирают вопросы, в ответах на которые ты не нуждаешься. Потому что есть у моего сердца пятое свойство, которое присуще и тебе.

Всякий знает, что для каждого человека луна — одна, но не все помнят, что и у луны каждый человек — единственный. Только на него она смотрит и никогда не отворачивается, ему улыбается, ему пишет письма. Он один у неё зелёный цветочек в аске, и если он глядит на неё, она отвечает ему взглядом. И тот, кто однажды это поймёт, никогда больше не заговорит с луной о верности.

Поэтому не вини меня, дорогая луна, — ни меня, ни его, ни любого, кто стал по твоей милости рабом приливов и отливов; кто показывает новому месяцу деньги, а в полнолуние пляшет и плачет; кто сегодня ночью полюбит, а через две недели не вспомнит, кого; кто всегда возвращается — каждые двадцать восемь дней — и всегда уходит.

Кто бы говорил, дорогая луна, кому, как не тебе, знать всё об изменчивости и постоянстве.

Александра Тайц

Голландский самурай

«Роберт Сан-Мигель — редкая скотина», — подумал Тоши и нажал на «Ответить всем».

«Хай, Роберт, — настучал он быстро, — несмотря на то что СПП версии УКК не может быть внедрен без АПК ИДМ, я настаиваю на повторной валидации РВМСиК. Расписание моей группы не позволяет включить СПП без ППОЗО, и я считаю иное временное распределение неразумным и неэффективным. Кстати, внедрение лингвистического пакета третьего уровня назначено на 18 декабря».

Он перечитал, удовлетворённо вздохнул и добавил фирменное:

«С немеркнущим уважением, Кимитоши Сато, менеджер группы разработки».

«Немеркнущее уважение» он придумал, когда поступил работать в контору. Тоши родился в Редмонде, вырос в Сакраменто и по-японски говорил с журчащим калифорнийским акцентом. В конторе он, однако, считался экзотическим персонажем и имидж как мог поддерживал.

«Роберт Сан-Мигель — редкая скотина. Яйца у него словно апельсины, — пробормотал Тоши. — Мерзавец. Подставил полсотни человек запросто так, добро бы выгода какая была». Он укоризненно покачал головой и открыл следующее письмо.

«Тоши, группа из Техаса приезжает в четверг. Я уже буду в отпуске, так что развлекать их тебе. Не забудь собрать все чеки. Бюджет есть, но не шикуйте там особо».

— Редкая скотина, — с раздражением подумал Кимитош-сан, — и я его ещё и развлекай.



У Роберта оказалась борода как у настоящего Сан-Мигеля, и весь он был такой коричневый и блестящий, что Тоши *сразу* забыл и про то, что Роберт — редкая скотина и подставил его как мальчишку, и про то что было велено не шиковать, и про то, что он уже сравнительно немолодой человек уважаемый специалист. Честно сказать, он вообще мало что помнил, разве то, что Роберт Сан-Мигель мягким басом предложил называть его Робом.

Поэтому сначала они пошли во французский ресторан, потом в какой-то новомодный бар со стеклянными светящимися столиками. В стекло столешниц были впаяны старые микросхемы. Роб углядел одну, маленькую, синюю, и растрогался:

— У меня в первой машине такая память была... Ты не серчай, на меня самого знаешь как давили?

— И у меня, — ещё более растроганно ответил Тоши. — Да что я, не понимаю, что ли? Выпьем!

Потом они, кажется, ходили на каток. А может, в зоопарк, Тоши не помнил. Потом вся группа куда-то делась, было уже темно, и они с Робом очутились почему-то на автобусном вокзале, на скамеечке, и Роб, жарко дыша Тоши в ухо, говорил тихо и быстро, Тоши не слышал слов, слышал только голос — глубокий и глухой. От Роба пахло горячим песком, лошадьми и мускусом. А может, это всё Тоши показалось.

— Я тут живу недалеко, — сказал Тоши, едва ворочая языком, — могу показать, как живёт настоящий житель мега... по... полиса... пега... молиса. Тут тебе не Техас!

— Пижон, — пьяно хохотнул Роб. — Метросексуал, фак ю. Веди, показывай свои хоромы.

И Тоши, кажется, повел. Впрочем, он ни в чём не был уверен.



Тоши почувствовал, что лежит на чём-то упругом и плотном. Чьей-то оливковой гладкой руке. С трудом двигая глазами, он прошелся взглядом по всей руке от пальцев к плечу. Рука росла из плотного тёмного тела. Тело пошевелилось, и мягкий бас где-то чуть выше Тошиного уха пророкотал:

— Тоши-сан, который час?

— Полседьмого, — механически ответил Тоши и едва сдержался, чтобы не спросить: «А ты кто такой?»

— А ты далеко от работы живёшь? — продолжал бас.

Тоши повернул затёкшую шею и посмотрел в сияющие чёрные глаза Роберта Сан-Мигеля.

— Десять минут на такси, — ответил Тоши, — а что?

— Да у нас ещё вагон времени, — пробасил Роб, приподнимаясь на локте. — А у тебя веснушки, оказывается.

— Я на четверть голландец, — ответил Тоши.

Роб захохотал и перекатился на другой бок.

— Ну погоди, голландец, — сказал он, — вот я сейчас тебя.



Тоши окончательно проснулся только в ванной. В зеркале отражался он, зубная щётка, кусочек кровати и Роб, пытающийся откусить ему ухо.

— Я тебя люблю, — неожиданно сказал Тоши и сам удивился.

— И я, — как-то даже растерянно ответил Роб. — Переезжай к нам в Техас, Тоши-сан.

Тоши ничего не ответил, Роб понял, что сморозил глупость.

— Наоборот, — возразил Тоши, — наоборот.

— Ебанутые западные жители, — поморщился Роб.

— Я тебе обещаю, — сказал Тоши, — к понедельнику ты решишь переезжать. Сюда все решают переезжать. Я, блин, плачу две штуки в месяц за эту норку. Именно потому, что все решили, что здесь хорошо.

— А что, классная норка. Вполне хватит на двоих, как ты думаешь? — спросил Роб нарочито небрежным тоном и оглядел студию.

— Так а я тебе про что? — горячо подтвердил Тоши.

— А хозяйева?

— Что хозяйева?

— Нууу... — неопределённо протянул Роб.

— Здесь тебе не Техас, — гордо ответил Тоши.

— И то, — задумчиво протянул Роб, — и то... А что значит «сан», кстати?

— Мистер, — рассеянно ответил Тоши. — Мистер. Господин.

— Мессир. Начальник. Хозяин. Повелитель, — продолжил Роб. — Господь бог, практически. Распечатаю твою фотку, повешу на стенку, буду молиться.

— Дурак, — сказал Тоши. — Дурак ты, Роберт-сан. Лучше переезжай скорее.

— Уговори меня, — сказал Роб. — Улести, умасли, соврати, искуси. Меня уже лет триста никто не искушал.

— Вечером, — пообещал Тоши, — вечером искусаю, договорились. У нас собрание через двадцать минут.

Они отсидели собрание, потом ещё одно, потом корпоративный ланч, потом ещё какое-то общее собрание со слайдами. Пятница оказалась просто бесконечной. Тоши сидел рядом с Робом, тайком нюхал мускус и нагретый песок и мучительно краснел в ответ на каждый вопрос — ему казалось, что, как только он откроет рот, Всё Сразу Все Увидят, гнусно захихикают и отведут глаза. От Робса исходил сухой жар, Тоши даже казалось, что воздух вокруг него немного дрожит, словно над нагретой солнцем пустыней.

Роб же как будто и не замечал ничего — болтал с коллегами, докладывал на собраниях и с аппетитом уплел свой ланч и половину Тошиного. Тоши есть не мог, только сглатывал истерически и глазами стрелял. Вид у него был настолько неважный, что Джон, старший менеджер, сам посоветовал ему пойти домой и отлежаться.

— Выглядишь отвратительно, — сказал Джон, — у тебя, часом, не грипп ли? Иди домой.

Тоши ехал домой и волновался. А вдруг он не позвонит? И очень даже просто.

Вчера они оба пьяные были в сосиску. А утром поди проспался — и увидел, что и видеть-то особо нечего. Ручки и ножки у Тоши были маленькие, как у девочки, плечики узенькие. Зубы так себе... Да и рожа, прямо скажем... Веснушки эти идиотские, и эта

манерная привычка голову наклонять по-птичьи... Фу. И руками он размахивает по-дурацки, чисто клоун. Не говоря уже про Это. Это Тоши волновало сильнее всего. Роб-то наверняка такого повидал, такого! А у него, у Тоши, ни фантазии особенной, ни этого. И пахнет от него вечно как-то неправильно, мойся-не мойся... И рубашку сегодня розовую он напялил, зачем, спрашивается? Он и не любит розовые рубашки. Ну зачем было человека шокировать? А у Роба в Техасе наверняка настоящий мужик, волосатый, в ливайсах, в сапогах таких... С двумя кольтами за пазухой.

«Постараюсь свалить через час», — пискнула смска от Роба.

«Чем займёмся?» — набил Тоши, сразу забыв все мрачные мысли.

«В шахматы играть будем, — ответил Роб. — Или шашки», — добавил он через минуту.

До самой ночи они не вылезали из постели, а потом Роб вдруг сказал:

— Я хочу тобой похвастаться. Пошли куда-нибудь. Танцевать или в бар просто. Куда угодно. Я хочу, чтобы все видели, что ты у меня есть.

— Было бы чем хвастаться, — попытался уклониться Тоши.

— Я ещё никем никогда не хвастался, — очень серьёзно ответил Роб. — Ты себе не вполне представляешь, как это — жить в Далласе. В смысле, мне жить в Далласе.

На Кастро оказалась слишком громкая музыка, в стрейт-барах на шестой — слишком пахло травой и было слишком много крошечных вертлявых азиатских девочек, на Брайант уже все позакрывали. В конце концов они почти решили вернуться ближе к дому и посидеть в «Дурацкой Мухе» — тихом баре по соседству.

— О! Джилберт-стрит, — Роб, указал на табличку с названием улицы. — Мне говорили, на Джилберт есть охренный бар. И там подают такой коктейль...

— Найдем? — **храбро предложил Тоши и, не раздумывая, шагнул в тёмный переулок.**

Джилберт-стрит была и не улицей вовсе — так, длинным тёмным проходом между домами. Они шли уже минут пятнадцать, почти в полной темноте, на ощупь обходя выставленные на улицу мусорные пакеты и озираясь.

— Может, ну его? — спросил Тоши нерешительно. — Пойдем в «Муху»?

— погоди, сейчас найдем, — подбодрил его Роб. — Вон там — это не дверь светится?

Это действительно была дверь, а над дверью — тускло светящаяся вывеска. «Джуманджи. Кафе-клуб». На входе дежурил здоровенный чёрный детина.

— Можно войти? — робко спросил Тоши. — Или это частная вечеринка?

Охранник равнодушно пожал плечами и подвинулся, пропуская их внутрь. Тяжёлая дверь приоткрылась и мягко захлопнулась.



— Ой, — тихо сказал Тоши.

За дверью заведения были городские задворки, пахло мусорными баками, кошками, невымытым телом и марихуаной. Внутри оказались обшитые деревянными панелями стены, стеллажи с увесистыми томами в тисненой коже, мягкие кресла, пушистый ковер, приглушённые разговоры и слоистый табачный дым — то ли сигарный, то ли трубочный. Английский клуб времен королевы Анны. Наваждение какое-то.

Не успели любовники как следует удивиться, как бесшумно выросший за их спинами официант уже вёл их к столику, предварительно осведомившись у господ, будут ли они только суп или также и основное блюдо. Странность этого вопроса вывела Роба из оцепенения.

— А... что вы посоветуете? — не своим голосом выдавил он. — Мы... ну не знаем, мы никогда...

— Не извольте беспокоиться, всё когда-то случается в первый раз, сэр... Сан-Мигель, — ответил официант, тонко улыбаясь, и покосился на именной значок на Робертовой куртке.

— Доступное волшебство, — улыбнулся в ответ Роб. — Так что же вы нам посоветуете, сэр... Паланеску? — И он в свою очередь повел бровью на значок официанта.

— Иозеф, — любезно кивнул официант. — Господа, я польщён, но я теряюсь. Наши посетители обычно твердо знают, за чем пришли...

— Всё когда-то случается в первый раз. — Роб явно наслаждался происходящим.

— Ну... суп абсолютно безопасен, — непонятно ответил официант, — но и удовольствие, конечно, несравнимо.

— Мы будем основное блюдо, — решительно сказал Тоши.

— Тогда вам в голубую гостиную, — сказал официант, — проходите сюда, пожалуйста.

Они выбрали столик у камина, уселись в огромные вольтеровские кресла, и Роберт сделал попытку положить ноги на стол.

— Это Роберт Сан-Мигель, он из Техаса, лошадь он во дворе привязал, — ядовито заметил Тоши.

— Извини, — Роб сел по-человечески. — Как-то на меня обстановочка действует... расслабляюще. У них тут и курить можно!

— Фантастика, — подтвердил Тоши.

Снова появился давешний официант, на этот раз с подносом, на котором было два бокала вина и почему-то — чёрная шляпа-цилиндр. Не говоря ни слова, официант поставил бокалы на стол и, учтиво наклонившись, доверительно прошептал:

— Господа, наверное, уже знают о наших правилах?

— Господа здесь в первый раз, — сварливо ответил Тоши. Официант действовал ему на нервы. Он был слишком высокий, слишком лощёный и слишком явно заигрывал с Робом.

— В таком случае, — ничуть не смутившись, продолжал официант, — я вас введу в курс дела. Вы разрешите присесть?

— Так вот, — приятно улыбаясь, говорил мистер Паланеску, — видите ли, юноши, это не совсем ресторан. Это, скорее, клуб, и его посещают по рекомендациям. Но раз уж Фрэнк вас впустил... — официант пожал плечами, — короче, правила клуба таковы. В начале вечера все участники... то есть все, кто выбирает основное блюдо, разумеется... пишут свои имена вот на этих карточках, — он продемонстрировал красивые белые карточки, — и кладут их вот в эту шляпу, — он показал цилиндр. Потом мы проводим жеребьёвку...

Официант не окончил фразы и махнул рукой — мол, ну дальше всё ясно.

— Так, и что дальше-то? — спросил Тоши, раздражаясь все сильнее. — Когда еду-то можно будет заказывать?

Официант посмотрел на него как на умственно отсталого, но милого ребёнка.

— Дальше, разумеется, я вытаскиваю одну из карточек, и тот, чья карточка выпала, отправляется на кухню... А мы наслаждаемся великолепной трапезой, — пояснил он, улыбаясь.

— Мы его едим, что ли? — криво усмехнулся Роберт. — Выбираем по жребии, кого бы нам сегодня скушать?

— В некотором смысле, — замялся официант и, кинув взгляд на ошарашенные лица любовников, торопливо пояснил: — Выбранный уходит на кухню и вместе с поваром, ну то есть барменом... готовит наш фирменный коктейль. Считается, что через руки повара в трапезу переходит часть его души. Поэтому действительно можно сказать, что каждый из нас сегодня съест частичку того, кого выберет шляпа... но, разумеется, исключительно в аллегорическом смысле.

— Красиво, — восхитился Роберт.

Тоши молча взял карточку и покрутил в руках.

— Можно написать любой идентификатор, — любезно подсказал мистер Паланеску, — имя, кличку, номер... Просто чтобы вы знали, что это вы. Гарантируется полная анонимность, разумеется.

«Бред какой-то», — подумал Тоши.

Роб, улыбаясь во весь рот, уже писал что-то на карточке. Официант, изящно изогнувшись, подставил цилиндр, Роб небрежным жестом закинул туда бумажку. Официант кивнул и исчез.

— Тоши-сан, — улыбаясь, сказал Роб, — развеселись! Я за тебя тоже бумажку написал.

— Да ну, фигня какая, — надулся Тоши. — И этот чёрт прилизанный с тобой кокетничает.

— Мне показалось, что он с тобой кокетничает, — в тон ему ответил Роб, — и я уже собирался дать вам обоим в глаз, но он почувствовал неладное и смылся.

— Чего ему со мной кокетничать, — мрачно пробормотал Тоши, — было бы на что силы тратить.

— Ты дурак, Тоши-сан, — Роб взял обе Тошины руки в свои и прижался к ним лбом. — И ты абсолютно прав. Нечего мне делать в этом Техасе, — добавил он, глядя снизу вверх. — Только надо дела уладить. Это недели две займет, не меньше, И потом... мне ведь увольняться придётся.

— Проживём, — буркнул Тоши, — тоже мне проблема.

— Я на бумажках написал «Голландский Самурай» и «Архангел Михаил», — продолжал Роб как ни в чём не бывало.

Тоши расхохотался на весь клуб и больше ни на что не сердился.



Раздался тихий звук гонга. В центре полутёмной гостиной загорелось пятно прожектора, в него, картинно раскинув руки, вошёл мистер Паланеску.

— Доброй ночи, господа, — объявил он, — мы начинаем.

Посетители с готовностью поднялись с мест и собрались вокруг официанта, образовав широкий вежливый круг. Гости были на удивление разные — мужчины и женщины всех цветов кожи, старые и молодые, одетые в вечернюю одежду и буднично. И у всех у них в лицах было что-то общее, какая-то радостная обеспокоенность. Тоши вспомнил — точно такие лица были у его одноклассников, когда они в школьном туалете раскуривали один косяк на целую компанию. Пока первый счастливчик неторопливо выдыхал, остальные смотрели на него вот именно таким взглядом. Радостным от предвкушения удовольствия и тревожным, оттого что одного косяка на всех может не хватить.

Мистер Паланеску театральным жестом выхватил из кармана одну чёрную перчатку, надел, второй рукой подхватил с подноса цилиндр и продемонстрировал публике его содержимое.

— Тридцать пять, господа! — воскликнул официант. — Сегодня нас очень много, и это прекрасно.

Гости сдержанно, но сердечно захлопали.

— Господа, кто желает оказать нам честь и выбрать нашего героя? — Официант обвёл глазами аудиторию и задержал взгляд на смущённом Тоши.

Противный мистер Паланеску вроде как даже усмехнулся снисходительно — мол, ну тебе-то, сморчку, слабо, разумеется.

— Разрешите? — услышал Тоши собственный голос.

— Разумеется, разумеется, — замурлыкал официант и, учтиво поклонившись, протянул

цилиндр. Тоши, от смущения красный как рак, неловко сунул руку в чёрный шёлк, ухватил первую попавшуюся бумажку и протянул мистеру Паланеску. Тот карточку принял, отставил цилиндр, надел пенсне, взял карточку двумя пальцами в чёрной перчатке, прищурился, прочистил горло, ещё немного подержал паузу и наконец произнёс:

— Архангел Михаил, — и, обведя глазами аудиторию, добавил: — Прошу вас.

Роберт, просияв, вышел на середину зала. Мистер Паланеску страшно обрадовался и пояснил аудитории:

— Эти юноши — спутники. Они пришли сюда вместе.

Посетители снова зааплодировали, на этот раз довольно громко, видно было, что упомянутый мистером Паланеску факт их тоже почему-то обрадовал.

Официант ещё раз поклонился аудитории и широким жестом указал на Роба, приглашая всех присутствующих поприветствовать героя сегодняшнего вечера. Роб улыбался и махал рукой, публика улыбалась и хлопала. Потом официант приобнял его за плечи и, что-то деловито шепча, увёл в направлении кухни. Прожектор погас, гости разбрелись по своим столикам. Тоши тоже сел за столик и начал волноваться.

Хотя, разумеется, волноваться было не из-за чего. Ну увлёкся Роб салонной игрой, ну так и слава богу; если Тоши никогда не играет в такие глупости, это ж не значит, что они плохие. Это значит только, что он, Тоши, — скучный тип, который не может расслабиться даже в таком месте, где никто его не знает и больше никогда не увидит. А Роберт, он вон какой. Десять минут как сюда попал, а уже словно он этим заведением владеет. На паях с противным Йо- зефом Паланеску.

«И вообще он сейчас придёт, — настойчиво думал Тоши. — Сейчас он придёт, и мы пойдём на фиг отсюда.

С другой стороны, — возразил он сам себе, — с другой стороны некрасиво отравлять человеку вечер дурацкими капризами. Сейчас он придёт, мы выпьем этот идиотский коктейль, поужинаем, пойдём домой и потом будем вспоминать это сборище мудаков и ржать. Однако где же он, пора бы ему и прийти. Сколько прошло времени? Двадцать минут? Полчаса? Зря я не посмотрел на часы, когда он уходил».

На самом деле прошло минут десять, не больше. Снова зажёгся световой круг в центре зала, и в нём материализовался мистер Паланеску. Одной рукой он держал поднос с множеством небольших бокалов, другой — обнимал за плечи целого и невредимого Роберта. Гости, возбуждённо переговариваясь, поднялись со своих мест и снова собрались вокруг пятна света.

«Как бабочки», — подумал Тоши ни к селу ни к городу и облегчённо выдохнул.

Роберт вышел из пятна света, подошёл к Тоши и пощекотал ему ухо.

— Ты чего такой испуганный, Тоши-сан? Ты думал, меня там уже зарезали и на котлеты разделявают?

— Честно говоря, я так надеялся, — отшутился Тоши. — Расскажи, что было-то?

— погоди, сначала выпьем, — ответил Роб, — потом расскажу.

Официант медленно двигался по кругу, разнося коктейли, — по одному каждому из гостей. Получив бокал, посетитель не подносил питье ко рту, а ждал, держа наотлёт руку. Видимо, пить полагалось всем вместе, с тостом, как в Италии.

Дойдя до Тоши, Паланеску склонился в поклоне и явственным шёпотом произнёс:

— А вам, Самурай, особенно приятного аппетита.

— Спасибо, — вежливо ответил Тоши и взял с подноса бокал.

Жидкость в бокале была очень густой, гуще, чем сливочный ликёр, прозрачной и слегка опалесцирующей. В свете прожектора Тоши показалось, что над поверхностью коктейля клубится легкий пар.

«Горячий, что ли?» — подумал Тоши.

Официант сделал приглашающий жест рукой. Гости, все одновременно, поднесли к губам бокалы, а Тоши замешкался, заглядевшись на туманный завиток над напитком. Когда

он поднял голову, у большинства гостей бокалы были уже пусты. Тоши оглядел освещённых резким светом посетителей и поёжился. На всех до единого лицах блуждала совершенно одинаковая, абсолютно счастливая улыбка.

— Пей же, — подтолкнул его Роб. — Неужели тебе неинтересно?

— Очень интересно, Роберт-сан, — пробормотал Тоши, свободной рукой нащупывая внизу Робертова ладонь. — Конечно интересно, очень. Вот видишь, уже пью.

Питья было немного — на один большой глоток. Когда жидкость коснулась языка, Тоши увидел красный закат над Великой равниной, почувствовал чьи-то огромные тёплые руки, услышал, как пахнет утром кофе с молоком, ощутил вкус солёной воды. И проглотил. Питьё обожгло горло то ли жаром, то ли холодом, не разобрать. Тоши оглушило свистом ветра в волосах, хлопанием парусов, топотом лошадей, синими горошинами на лифчике Анни... Всё происходило здесь и сейчас и было нестерпимо реально. Бабушкины мягкие колени; первые мамины морщины; жёсткая кожа бейсбольной перчатки; ледяная кока-кола; запах гавайской ночи; шорох шёлковых маминых халатов и душная теснота платяного шкафа; тёплые струи дождя, пробивающего насквозь футболку и текущего по ногам; вкус крови на губе после драки; запах костра и вкус жаренного на углях мяса; тёплые щекотные лошадиные губы; острое, почти невыносимое наслаждение — тогда, первый раз, на выезде, когда они с Амариллисом вошли в ритм; горячий песок; холодные снежинки; свист лыж; опрокинутая земля и рёв воздушных потоков, восторг и ужас, надёжный рывок парашюта — р-р-раз — и ты уже в безопасности...

А потом он увидел своё собственное лицо.

Тоши вздрогнул и очнулся. Световое пятно в центре зала погасло, вокруг возбуждённо и радостно гомонили гости, горели лампы на столиках, пахло чем-то вкусным. Тоши стоял как столб посреди полутёмной гостиной, крепко ухватившись за руку Роберта.

— Что это у тебя пальцы такие холодные, — спросил Тоши, — замерз, что ли?

Паланеску соткался из воздуха прямо перед их столом, нагруженный подносом со всяческой снедью. Он ловко расставил приборы, разложил салфетки и приоткрыл крышку блестящей сковороды. На Тоши пахло запахом жаренного на углях мяса.

— Странное дело, — сказал Роб, — совершенно не хочу есть. И вообще, я ужасно хочу спать.

— Ну так пойдем скорее отсюда, — с облегчением отозвался Тоши. — Будьте добры, счет, пожалуйста, — обратился он к официанту.

— За счёт заведения, — ответил официант веско. И подмигнул.

Выйдя на улицу, Роб что-то совсем расклеился — загребал ногами, раскачивался из стороны в сторону, бормотал что-то невразумительное и порывался прилечь на мусорный бак. «Странно, — подумал Тоши, — вроде и не пили практически. Отравился, что ли?»

Он еле доволок Роба до Брайант-стрит и прислонил к стене. Им повезло, третья машина оказалась свободной, таксист даже помог втащить тяжеленного Роба на третий этаж и положить его на кровать. Взял предложенную десятку, вежливо поблагодарил и укатил по своим таксистским надобностям.

Роб спал как каменный. Тоши стянул с него ботинки и носки, а с брюками не сладил — ему и самому было нехорошо. Поди, какой-то вредной дрянью напоили их в этом, «Джуманджи». Он забрался под одеяло рядом с Робом, поцеловал холодный мокрый лоб, подумал: «Уж не заболел ли он, часом, может, к врачу?» — и уснул.



Тоши проснулся после полудня. Голова у него раскалывалась. Ни Роба, ни его вещей было. К монитору была прилеплена корявая записка:

Кимитоши, улетел домой, созвонимся.
Роберт

Тоши пять раз перечитал записку и всё равно ничего не понял. Он включил компьютер, проверил на всякий случай, какое сегодня число. Может, он проспал двое суток и сегодня уже воскресенье?

Нет, была суббота. Самолет у Роба совершенно точно был в воскресенье, причём вечером.

Тоши ещё раз перечитал записку. В ней было неправильно всё, начиная с обращения. Полным именем Тоши называл только менеджер по набору персонала, и то только когда на работу принимал. Да и вообще... Они, чёрт возьми, в любви друг другу признавались несколько часов назад! Роб собирался переезжать к нему жить! Вчера, Да, только вчера они обсуждали, что хорошо бы переизбрали нынешнего мэра, тогда через три года вполне вероятно, что закон о браках пройдет, и это будет очень кстати! Роб планировал поставить на вот этой самой кухне вытяжку, потому что он мясо жарить любит!

Может быть (Тоши помотал головой), может быть, это всё ему просто приснилось? Может, не было никакого Роба, не было трёх безумных дней, не было траха до звона в ушах, не было мягкого баса, не было признаний в любви, и английского клуба не было, и противного официанта? И идиотской лотереи? И ведьминского зелья?

Но тогда почему у него дома к монитору приклеена записка от малознакомого коллеги? Что вообще происходит?!

Тоши поспешно подобрал раскиданную одежду и стал рыться в карманах в поисках материальных свидетельств. Ключи от дома, ключи от машины, кредитки, права, какие-то бумажки. О! Бумажки — это то, что надо.

Он аккуратно разложил на столе четыре автобусных билета — все на вчерашнюю дату, пяток чеков из различных питейных заведений и белую визитную карточку.

Четыре билета — значит, он либо ездил куда-то два раза, либо ездил с кем-то вдвоём сначала туда, потом обратно. Хорошо. На всех пяти чеках значилось чётное число заказов. Два martini. Четыре водки с тоником. Восемь «Кровавых Мэри». Шесть бутылок тёмного пива. Шесть... не разобрать названия, что-то по-французски. Тоши присвистнул. «Может, и не вдвоём, — подумал он. — Может, и вчетвером...»

Визитка из плотной матовой бумаги была очень белой и безымянной, пустой, словно её нужно было заполнять от руки. Внизу мелкими кудрявыми буквами было напечатано:

***Джуманджи. Кафе-клуб. 173 Джилберт Стрит,
Сан-Франциско, 94106***

Ничего ему не приснилось. Тоши ужасно разозлился. Какого чёрта, уехать ни слова не говоря, как ни в чём не бывало, оставить дурацкую записку... Ещё бы сто баксов на туалетный столик положил за услуги.

А может, он заболел? Вчера он был совершенно никакой, может, что-то случилось? Но опять же — к чему эта записка, странно адресованная, и это холодное «созвонимся»? Позвонить? Или не стоит? «Может, он не хочет, чтобы я звонил? Что я буду навязываться», — подумал Тоши и набрал номер Роберта.

Абонент, как он и ожидал, был временно недоступен. Тоши оставил короткое корректное сообщение с просьбой перезвонить, когда найдётся время. Потом, в целях борьбы с тревогой, обидой и похмельем, Тоши перемыл посуду (отметив про себя, что в раковине всего по два), развесил одежду в шкафу, отнес бельё в прачечную, помыл холодильник, протёр пыль во всей квартире и уже заканчивал пылесосить, когда раздался

телефонный звонок. Звонил Роб.

— Алло!!! — закричал Тоши на весь дом. — Алло, ты где?

— Мистер Кимитоши Сато? — осведомилась трубка официальным тоном.

— Это я, — упавшим голосом ответил Тоши, — чем...

— Марджори Смит, криминальная полиция Далласа. Вы знакомы с мистером Робертом Сан-Мигелем?

— Да... — ещё тише ответил Тоши, — а что...

— Хорошо знакомы? — допытывалась трубка. — Мистер Сан-Мигель — ваш друг?

— Эээ... — замялся Тоши, — да, друг, а какое...

— Мистер Сато, — голос в трубке изменился и стал почти человеческим, — мистер Сато, с вашим другом произошло несчастье. Как скоро вы сможете приехать в Даллас?

— Он здоров? — прокричал Тоши в трубку. — Он жив?

— Как скоро вы сможете приехать? — спросила трубка. — Вы нам, признаться, крайне нужны...

— Роб... — начал Тоши...

— Мне очень жаль, — ответила трубка уже совсем по-человечески, голосом усталой немолодой женщины, — умер друг ваш. Инфаркт у него случился в полёте. На посадке.

— А когда надо? — деревянным голосом спросил Тоши у трубки. — Когда надо приехать?

— Лучше поскорее, — сказала трубка и прибавила жалостливо: — У него ваша фотография в бумажнике лежала. И эсемэску он вам набирал, когда помер-то. Хотел, видно, как сядет, сразу отправить... Прочитать?

— Давайте, — без выражения сказал Тоши.

— Тоши-сан люблю вернусь с чемоданами через неделю, — сказала трубка. И всхлипнула.

— Спасибо, — глухо сказал Тоши. — Спасибо вам... Мэгги?

— Марджори, — сказала трубка.

— Я вечером постараюсь быть у вас, — сказал Тоши.

А что такое «сан»? — неожиданно спросила трубка.

— Мистер, — ответил Тоши. — Господин. Хозяин. Мессир. Адрес мне продиктуйте, пожалуйста.

Он быстро и деловито сложил в портфель смену белья, ноутбук, зубную щётку, тапочки, тщательно оделся. Через полчаса он уже был в аэропорту, вежливо объяснял милой девушке, зачем ему срочно понадобилось в Даллас. Да, умер друг. Примерно (Тоши посмотрел на часы), примерно три часа назад. Может быть, пять. Да, очень, очень близкий друг. Да, вы правильно поняли. Спасибо. И вам тоже всего доброго. — Тоши широко улыбнулся и помахал девушке — всего самого-самого наилучшего! Девушка проводила Тоши странным взглядом и покачала головой.

«Чего только не увидишь на этой работе», — подумала девушка.

Потом Тоши сел в кресло у окна, откинулся и заснул. Проснулся, взял портфель, сел в такси, поехал в участок. «Хорошая погода, — заметил таксист. — В командировку?»

— Не совсем, — уклончиво ответил Тоши, — но погода действительно чудесная.

И опять широко улыбнулся.

— Видите ли, — начал инспектор, — у Роберта нет близких родственников. А те, что есть, живут в Эквадоре. А нам нужно провести опознание, — пояснил он. — Закон такой.

— Разумеется, — сказал Тоши.

— Вы точно готовы?

Тоши покивал головой и на всякий случай прикусил губу до крови.

Роберт был совершенно такой, как вчера, только очень бледный и холодный. И очень мёртвый. А вчера был живой. Тоши ещё раз покивал головой, Роберта задвинули обратно в блестящую металлическую стену и прикрыли специальной крышкой с ручкой.

— Это он, — очень спокойно заметил Тоши, — только он мёртвый. А вчера был живой. И тут до него наконец совсем дошло.

Следователь отвёл Тоши в комнату для посетителей. Усадил на диван, дал стакан воды и пачку салфеток, сам сел рядом в кресло и стал ждать, заполняя какие-то бумаги. Когда слёзы временно закончились, Тоши поднял голову и глухо сказал:

— Вы хотели меня о чём-то спросить.

— Да, — сказал следователь, — хотел. Я хотел уточнить вот что. Когда, вы говорите, в последний раз видели Роберта?

— Вчера ночью, — ответил Тоши, — я ж вам говорил уже.

— Вы точно знаете, что вы видели его вчера ночью? — спросил следователь с нажимом.

— В каком смысле? — удивился Тоши. -

Что вы хотите этим...

— Или так, — следователь пожевал губами, — вчера вечером вы видели именно Роберта?

— Послушайте, инспектор, — сказал Тоши, — вы мне что, не верите?

— Было темно, — подсказал инспектор, — вы выпили...

— Я не был пьян, — твёрдо ответил Тоши, — по крайней мере не настолько пьян, чтобы по ошибке пригласить домой незнакомого мужика.

— Но вы же не разговаривали с ним, не так ли? — продолжал гнуть свое инспектор.

— Послушайте, — вздохнул Тоши, — я вижу, что вы что-то пытаетесь выяснить. Так вы мне скажите — что. Я постараюсь вам помочь.

Следователь почитал какие-то бумаги, пожевал губами, поскрёб щетину на подбородке, опять почитал бумаги и, наконец, видимо, решился.

— Кимитоши, — сказал следователь, — вы только постарайтесь отнестись к тому, что я говорю... полегче, хорошо? У нас тут кое-что не сходится...

— Инспектор, — усмехнулся Тоши, — самые плохие новости вы мне уже рассказали. Валийте, что у вас не сходится?

— Видите ли, — сказал инспектор, — в случае внезапной смерти такого рода мы всегда делаем вскрытие.

— И? — вскинулся Тоши.

— Ваш друг действительно скончался от инфаркта, — вздохнул инспектор, — совершенно естественные причины смерти, никакого насилия, уверяю вас.

— Но? ~ сказал Тоши. — Там у вас наверняка есть «но»?

— Но, — покорно продолжил следователь, — время смерти Роберта Сан-Мигеля — между девятью и одиннадцатью часами вечера пятнадцатого ноября. То есть покойный никак не мог сесть в самолет, отправляющийся из Сан-Франциско в Даллас в десять тридцать утра шестнадцатого ноября, — инспектор деликатно кашлянул, — потому что к этому времени он был, гхм, уже двенадцать часов как, гхм... покойным. Извините, Кимитоши, я понимаю, что вам это слушать тяжело, но...

— Я вряд ли смогу чем-то помочь, — осторожно сказал Тоши, — я его не убивал, если вы это имеете в виду.

— Ну что вы, — вежливо ответил инспектор. — Разумеется нет.

— Наверное, ошиблись в лаборатории, — предположил Тоши. — Я могу идти? Я хотел бы поспать, очень устал.

«В десять часов, — думал Тоши лихорадочно, — в десять часов мы сидели в этом дурацком клубе. И... и его выбрали, и он ушел на кухню, и потом пришёл обратно... и руки у него были холодные как лёд».

Он рассчитывал уехать как можно скорее, но не учёл похороны, у Роба не было родственников в стране, он и забыл. Оказалось, что похороны — это совсем не страшно. Роб стал ненужной вещью, от которой полагается достойно и как можно быстрее избавиться,

проектом, который нужно организовать. самого Роберта Сан-Мигеля больше не было на свете, и с этим ещё предстояло как-то жить. Было совершенно непонятно, с чего начинать.

Он понял, с чего начать, примерно через неделю.

Первым делом надо было вообще найти эту Джилберт-стрит. Гугл путался в показаниях и посылал его то в район Лагуна Хонда, то куда-то в сторону Рыбачьей верфи, то вообще прикидывался идиотом и сообщал, что нужно воспользоваться паромом Сиэтл-Виктория.

«Брать револьвер? — думал Тоши. — Или что, я, как дурак, попрусь с револьвером? Я и стрелять-то не умею. Вот фотоаппарат точно надо взять». Он сунул в карман камеру, положил в бумажник визитку с адресом и заказал такси.

Раз уж Гугл не находит.



Таксист всю дорогу ворчал. Всё ему было неладно — цены на бензин, побитый асфальт, собственный выдавший виды «форд», правительство, школы, медицина, проклятые понаехавшие. («Не подумайте, что я про вас, мистер, — тактично пояснил таксист, — вы-то в порядке, я про этих...») — и он неопределённо помахал рукой в направлении невидимых понаехавших.) Они ехали уже с полчаса, и в конце концов таксист признался, что знает, куда ехать, крайне приблизительно. Мол, где-то в районе схода с хайвея и нумерованных улиц, но где конкретно — чёрт его разберёт.

— Высадите меня тогда прямо здесь, — попросил Тоши. — Седьмая, угол Брайант-стрит.

— Как скажете, — с облегчением согласился таксист, — как скажете, мистер. Спасибо!

— Лёгкой дороги, — отозвался Тоши. — Вам спасибо.

Он вылез из машины и остановился в нерешительности — у кого бы спросить дорогу. Прохожие доверия не внушали. Мимо медленно прополз завёрнутый в неописуемые тряпки бродяга, потом, быстро перебирая маленькими ногами в кедах, пробежала бабушка самого неожиданного вида — в руках у неё был раскрытый чёрный зонт, на голове привязан ярко-розовый детский пластмассовый стульчик. Прошёл старик в широкополой шляпе, нараспев читающий Уитмена. Стайка подростков в спущенных брюках и шапочках вежливо обогнула Тоши с двух сторон. Прошла слепая старуха с тремя кошками на поводке. Кошки по очереди обтерлись о Тошины джинсы. Прошел ещё один бродяга, на этот раз с тележкой, полной всякой дряни. В руках у бродяги был старый магнитофон, ещё кассетный, из магнитофона несло удивительное:

Roses are red, my love,
Violets are blue...²

— Хорошая музыка, — обратился Тоши к бродяге. — Вы не знаете случайно, где Джилберт-стрит?

Бродяга что-то неразборчиво пробормотал, ткнул грязным пальцем куда-то влево и

поспешно растворился в пропахшем бензином воздухе вместе со своей тележкой, оставив после себя только:

Sugar is sweet, my love,
But not sweet like you...

Тоши послушно обернулся налево и увидел табличку с названием улицы. Он глубоко вздохнул, надвинул пониже кепку, натянул ворот свитера на подбородок и стал осторожно пробираться между горами мусора. На этот раз вывеска «Джуманджи» нашлась почти сразу, кафе было всего в паре кварталов от проезжей улицы. Тоши, стараясь не шуметь, по стенке прокрался мимо молчаливого охранника на входе и прошел дальше, в надежде отыскать вход на кухню. «Должен же быть, — резонно думал он, — должен же быть вход, через который они получают товар? Еду, вино, тарелки... вилки...»

Ему повезло. За домом был чёрный двор, отделённый от переулка покосившимся забором. Тоши ощупью нашёл подходящую дырку и пролез внутрь, надеясь, что во дворе не будет собак.

Во дворе было очень тихо и темно. Свет падал из трёх окон на втором этаже и ещё двух — полуподвальных. Тоши, осторожно обходя освещённые участки, пробрался к нижнему окошку и заглянул внутрь. Внутри все блестело. Кафельные стены и пол, большие печи, ряды кастрюль и сковородок на полках и на крюках под потолком. Даже столы тускло блестели полированной сталью. Между столами шустро сновал один большой повар и три маленьких. В руках у большого повара была блестящая поварешка.

Тоши придвинулся поближе к окну. В глубине комнаты стояло большое кожаное кресло, на нём в непринуждённой позе сидела очень маленькая азиатка, то ли кореянка, то ли японка — Тоши не видел лица. Над ней, почтительно согнувшись, нависал мистер Паланеску, в руках у него был поднос. Маленькая женщина откинула назад волосы и засмеялась. «Кореянка, — подумал Тоши. — Красивая». Кореянка протянула руку, взяла бокал и залпом выпила. Дальше Тоши ничего подумать не успел, поскольку женщина вдруг задрожала всем телом, выгнулась, словно натянутый лук, и резко обмякла. Паланеску рукой в перчатке дотронулся до её лица, приподнял подбородок, кивнул удовлетворённо.

Потом, словно хирург, протянул руку назад, ладонью вверх. Большой повар подал Паланеску... Тоши сощурился, пытаясь рассмотреть, что же это он такое подал.

Что-то вроде короткой палки или ручки от чего-то или трубки.

Паланеску взял непонятный предмет, зажал его в кулаке, словно нож с невидимым лезвием, а затем, вероятно, нажал скрытую пружину. В руке у него оказался длинный и очень блестящий нож. Тоши перестал дышать.

Лезвие у странного ножа словно бы слегка светилось собственным голубоватым светом. Паланеску занес нож и... смотреть на это было невозможно, Тоши отвёл глаза и натолкнулся взглядом на одного из поваров. Белый халат у повара был расстегнут, на чёрной футболке, надетой под халат, было написано:

Come to the dark side We have cookies³

и нарисован толстый чёртик с тарелкой печенья.

Тоши зажал обеими руками рот, пытаясь остановить истерический смех, громко хрюкнул, испугался — вдруг услышат, отпрянул от окна и задел какие-то доски, прислонённые к стене рядом с окошком. Доски с грохотом повалились — прямо ему на ноги.

³ «Переходи на Темную Сторону, у нас тут есть печенье». Первая строка — перифраз слов Темного Императора из фильма «Звёздные войны», призывавшего главного героя перейти на сторону сил зла.

Тоши судорожно заметался, высвободился, бросился назад, к спасительной дыре в заборе, обдирая локти, протиснулся на улицу — и угодил прямо в объятия молчаливого охранника.

— Цыц! — рывкнул охранник.

— Что, собственно... — попытался возмутиться Тоши.

— Цыц, — повторил охранник без выражения. Он ловко скрутил беглецу руки за спиной, ухватил его за локоть, второй рукой приоткрыл незаметную дверь рядом с кухонными окнами и легонько подтолкнул Тоши внутрь.



— Здравствуйте, Самурай, — приветствовал его мистер Паланеску. — Почему вы с чёрного входа? Фрэнк?

Фрэнк пробурчал что-то о проклятых шпионах.

— Фрэнк, молодому человеку интересна наша кухня, это совершенно естественно, — сказал мистер Паланеску. — Заходите, заходите, Самурай.

— Откуда вы... — начал Тоши.

— Доступное волшебство, — улыбнулся официант, — я читаю все карточки после жеребьёвки и пытаюсь угадать, кто есть кто. В вашем случае это было просто. Кстати, а почему голландский?

— По кочану, — невежливо ответил Тоши.

— Не сердитесь, — улыбнулся Паланеску, — скажите-ка лучше, как ваш друг? Уже переехал к вам, как собирался? Всё в порядке? Я вам завидую, Самурай, ей-богу. Знаете что? А оставайтесь-ка сегодня за счёт заведения? Я вас приглашаю. Сегодня у нас Сусанна, она совершенно очаровательна. Вам интересно будет.

Маленькая корейка, совершенно целая и невредимая, поднялась с кресла и подошла к Тоши, приятно улыбаясь.

— Сусанна? — удивился Тоши.

— Дедушек люблю, — *улыбнулась* Сусанна. — Очень люблю дедушек. Правда, тут потрясающе?

— Наверное, — осторожно ответил Тоши.

— Вам понравится. — Сусанна кокетливо хихикнула. — Не стесняйтесь, оставайтесь!

— Я как-то не собирался, — замялся он, — я в общем-то здесь случайно.

Мистер Паланеску доверительно наклонился к Тоши и прошептал:

— Ну как нам вас уговорить, Самурай? Пойдемте в зал, мы как раз начинаем. Кстати, вы не ответили — где же ваш друг? Неужели ему не захотелось ещё раз нас навестить? Где вы его прячете?

— Он умер, — сказал Тоши. Паланеску перестал улыбаться и сказал:

— Самурай, я вам очень сочувствую. Мы поговорим позже, у меня сейчас совершенно нет времени. Давайте после обеда, у меня в кабинете, хорошо?

Тоши послушно прошёл вслед за Паланеску в голубую гостиную. Столик у камина снова оказался свободен, он сел и внимательно огляделся по сторонам. Тоши довольно хорошо запоминал лица, и ему показалось, что состав гостей поменялся очень мало. У вновь пришедших вид был слегка удивлённый.

Паланеску разнёс бокалы. Жидкость в них отливала голубым. Тоши твёрдо решил, что пить он не будет. Он покрутил бокал в руках, отставил, взял снова. Над жидкостью клубился лёгкий фосфоресцирующий дымок.словно внутри было какое-то прозрачное шустрое существо, и оно дышало. Тоши ужасно захотелось отпить из бокала. Немножко, для эксперимента. «В конце концов, — думал он, — может, мне всё показалось».

Он прокрутил в голове события вечера: выгнувшееся в агонии и обмякшее тело Сусанны; Паланеску, стоящего над ней с занесённым светящимся ножом; Паланеску, учтиво ведущего совершенно здоровую и довольную Сусанну к её столику; весёлых поваров; футболку с изображением чёртика.

«Come to the dark side. We have cookies».

«Я схожу с ума, — подумал он абсолютно спокойно. — Какая разница, пьяный я или трезвый».

Он поднял бокал и залпом выпил.

Его накрыло плеском воды, запахом цветущей вишни, пота, приторных духов тети Сянь, он почувствовал между ног шершавые дядюшкины пальцы, задрожал от восторга и страха, ощутил кожей мягкий мех, как впиваются в спину железные заклёпки, вскрикнул от нестерпимой боли в правой руке, раскроенной от плеча до кисти, услышал, как входят в цель пули, одна, другая, третья — все в цель, плечо заныло от отдачи. Сквозь тело текли звуки — танго, фокстрот, что-то быстрое, кажется салса; на голову ему легла тяжёлая диадема, во рту был скользкий вкус устриц; Тоши вдохнул запах детских волос, ременной кожи, рыбьей чешуи...

«А может быть, и не схожу», — подумал Тоши, когда снова обрёл ясность рассудка. В случае Роберта ещё можно было предположить, что он просто насочинял себе невесту что и ничего такого в питье не было. Однако до незнакомой Сусанны ему до сего момента не было никакого дела. Мало того, если бы он, Тоши, мог вот такое вот сочинять, то он был бы не менеджером, а великим писателем. Да если бы он сейчас записал все, что увидел, — просто записал, никакой фантазии...

Паланеску возник у стола с блюдом устриц, тёплыми лепёшками, лимоном, зеленью и жемчужно-белой рисовой водкой, некрепкой и пахучей. Тоши, вообще говоря, устрицы терпеть не мог, но ему показалось, что он в жизни не ел ничего вкуснее.

Посетители между тем развеселились. Кто-то из гостей сел за рояль, слышались звуки танго. Несколько пар уже кружилось в центре зала, танцоры страстно прижимались друг к другу, слышался одобрительный смех и звон бокалов. Паланеску забрал тарелки, осведомился любезно, — понравился ли обед, и, наклонившись к Тошиному уху, прошептал интимно:

— Вы хотели поговорить... Давайте пройдем ко мне в кабинет?

Тоши поднялся и вслед за Паланеску вышел из гостиной. Паланеску легко взбежал на второй этаж и открыл дверь кабинета.

— Заходите, Самурай, — радушно предложил официант, — садитесь.

Тоши сел в кожаное кресло, оглядел ряды книг, темную мебель, тяжёлые занавеси на окнах.

— У вас очень уютно, — пробормотал он.

— К делу, — энергично сказал Паланеску и потер руки. — Во-первых, я вам действительно очень сочувствую.

— Спасибо, — кивнул Тоши.

— Во-вторых, — Паланеску сел за письменный стол, поставил локти на стол, сплел пальцы рук и положил на них подбородок, — вы же понимаете, что мы не имеем к этой трагедии ни малейшего отношения? А, Тоши-сан?

Тоши вскинулся, и Паланеску погладил его по руке.

— У вас тоже был значок на куртке, Тоши-сан. Никакой мистики, честное слово.

Исключительно здравый смысл и наблюдательность. — Паланеску достал из ящика стола бутылку виски и две стопки. — Составите мне компанию?

— Налейте, — хрипло сказал Тоши и взял предложенную рюмку. Виски было приятно тёплым.

— Так вот. Мы не нарушаем никакого закона, — очень спокойно и убедительно начал Паланеску. — Герой дня действительно проходит вместе со мной на кухню. Уверяю вас, мы

его не убиваем, — улыбнулся официант, — даже наоборот. Угощаем вином и лёгкой закуской, беседуем. В процессе беседы мы выясняем любимое блюдо... эээ-ээ... нашей жертвы, — Паланеску снова иронически улыбнулся, — и получаем информацию о некоторых событиях в её жизни. После этого Даниэль, наш бармен, готовит этот самый свой фирменный коктейль. Состав коктейля — его секрет, его не знаю даже я. Никаких запретных ингредиентов туда не входит, но факт остается фактом — коктейль каждый раз выходит очень специфическим и, с точки зрения наших клиентов, очень точно отражающим душу нашего героя дня. Собственно, любой первоклассный бармен это умеет — приготовить для клиента идеальный коктейль. Никому просто не приходило в голову напоить им весь зал.

— Но я, — пробормотал Тоши, — я же видел... чувствовал...

— Конечно, видели, — сочувственно закивал Паланеску, — я ничуть не сомневаюсь. Человеческая фантазия — мощная штука, Тоши-сан. Её достаточно слегка подтолкнуть в нужном направлении, и она сама напридумывает таких историй... Иногда даже слишком красочных. Ваш бедный друг, видимо, оказался излишне впечатлителен... Мне, правда, очень жаль.

— Мистер Паланеску, — робко начал уже почти убеждённый Тоши.

— Иозеф, — улыбнулся официант.

— Иозеф, — повторил Тоши, — но я видел нож... у вас в руках был нож...

— Этот? — спросил Паланеску, вынимая из кармана тёмную трубку и улыбаясь. — Ну что вы, Самурай, какой же это нож! Это флакон с нюхательной солью, бедняжке Сусанне стало нехорошо, на кухне очень душно. Вы удивительно романтичны для японца. Взгляните.

Он протянул тёмный предмет на раскрытой ладони. На полпути через стол рука Паланеску сомкнулась на рукояти, и под подбородком у Тоши заплескало сверкающее лезвие.

— Видите ли, — сказал Паланеску, — я никак не могу вам позволить уйти, Самурай. Поверьте, больно будет всего мгновение. Зато потом... — Он обошёл стол и встал напротив Тоши, не опуская лезвия, — зато потом вы будете практически неуязвимы. И это будет великолепная, потрясающая история, — продолжил он непонятно. — Он вас очень любил... Ай! — вдруг тихо вскрикнул Паланеску. — Шит. — И выпустил нож, отдернув руку. Словно от змеи или горячего чайника. Вылетев из рук Паланеску, нож красиво перевернулся пару раз в воздухе, пролетел мимо Тошиного носа, упал к нему на колени и мягко ткнулся в ладонь, словно живой. Тоши осторожно потрогал его одним пальцем. Нож был теплым и приятным на ощупь. Тоши глубоко вдохнул и обхватил рукоять. Руке было очень удобно и ловко, по телу мгновенно разлилось ощущение полного покоя и уверенности. Словно он всю жизнь пробирался вперёд в густом тумане, а сейчас туман вдруг рассеялся и он увидел окружающий мир впервые совершенно отчётливо. Мир переливался гранями и был абсолютно понятен. Мало того, всё в этом мире было устроено для его, Тошиной, пользы и удовольствия. В таком мире ни сомнениям, ни неуверенности просто не было места. Для них и подходящего слова-то не было.

«Так, наверное, чувствует себя настоящий самурай, — подумал Тоши. — Тот, который готов умереть каждую секунду». Он крепче сжал рукоятку, и нож снова стал ножом. Даже скорее кинжалом. Самураям положены кинжалы. Тоши погладил светящееся приятным жёлтым светом лезвие. Тёплое. Он перевёл взгляд на Паланеску.

— Иозеф, — сказал он, — сядьте, пожалуйста, вон в то кресло.

Паланеску покосился на нож в Тошиных руках, прошёл к креслу, сел и уставился в пол.

— Вы мне хотели что-то рассказать, — напомнил Тоши. — Я вас очень внимательно слушаю... Иозеф.

— Я... — прошептал официант глухо, — мне... я вам лучше покажу.

Паланеску вытащил из ящика стола пачку бумаги. Разложил на столе десяток листов. Взял со стола пузырёк. Он двигался очень медленно, словно под водой.

— Вторая фракция, — заговорил он сбивчиво, — тяжёлая. Лёгкую мы выпили, тогда, ещё вечером, правильно?

— Что-что мы выпили? — удивился Тоши

— Запах моря, устрицы, шрам на руке... дядюшка... — пояснил Паланеску. — Мы всё это выпили.

«Значит, я не псих», — подумал Тоши.

А вслух сказал:

— Допустим. А это тогда что?

— Это не пьют, — поморщился Паланеску. — Это несъедобно. Это чернила. Человек состоит из... легкой фракции, чернил и мяса. Смотрите.

Он взял толстую кисточку, макнул её в пузырёк и резкими движениями разбрызгал чернила по разложенным листкам.

— Что... — начал Тоши и осёкся.

Попав на бумагу, чёрные капли не впитывались. Они продолжали катиться по листам, словно капли ртути, оставляя за собой чёрные извилистые следы. Иногда одна капля распадалась на несколько, иногда несколько маленьких капель сливались в одну большую, чернильные дорожки становились гуще, сложнее, и потом Тоши вдруг понял, что видит перед собой десяток страниц, мелко исписанных от руки.

«Ли говорил со странным лающим акцентом и всегда, даже сразу после омовения, пах рыбой — потому-то я и решила, что он из Бусана. Когда мы познакомились поближе, оказалось, что запах рыбы — это следствие болезни ног, и он никогда не был за пределами Сеула...»

— Откуда это взялось? Вы решили со мной пошутить... Иозеф? Какая рыба?

— Это история Сусанны, — выдохнул Паланеску. — У любого человека есть история. У неё — такая. Там ещё много, в пузырьке. Ещё страниц на пятнадцать как минимум.

— И что вы с ними делаете? — спросил Тоши. — Читаете на ночь?

— Я, — сказал Паланеску со сдержанной гордостью, — я их освобождаю, Тоши-сан. Я делаю людей бессмертными. Бессмертными! Вы понимаете?! Да нет, как вы это можете понять. Ну вот смотрите...

Тоши все ещё держал нож нацеленным на официанта, но тому, кажется, было всё равно.

— Представьте, — говорил он, распаляясь, — представьте, Самурай. Вы живёте, маленький весь такой... Вы менеджер, да? Похожи на менеджера. Неважно. Учитесь, работаете, крутитесь... ну любите там каких-то мужиков... Ну или тёток, неважно... Какие-то люди вокруг... И всё это время вы в тумане, да? Ведь правда же? Вокруг вас — туман и неуверенность. Всю жизнь. Всю ебаную жизнь. И вдруг этот нож. Хорошо, что он у вас, Самурай, иначе бы вы не поняли. Вот вы его держите — вы же чувствуете, как он работает? Насколько всё становится, — Паланеску пощёлкал пальцами, подбирая нужное слово, — очевидным?

— Чувствую, — признался Тоши.

— Вот и я почувствовал, — кивнул Паланеску. — Я его в раскопе нашёл, в Карловых Варах. Нас было двое... Это был, разумеется, несчастный случай, — добавил он быстро, — но когда Марек упал, я был весь в этом, в этой... прозрачной жиже, и на губы тоже попало, и я сразу увидел... всё, ну вы видели, как это... А Марек потом проснулся и пошёл себе как ни в чём не бывало, правда, жена его потом иногда жаловалась — какой-то, говорит, уж больно спокойный стал, ровно покойник. А чернила, — продолжал Паланеску, — я нашел на следующий день. Куртка была сплошь в какой-то чёрной дряни, я её замочил и спать пошёл. Куртка бежевая была, так наутро она вся была исписана. Нечитаемо совершенно, они же безмозглые, капли эти, они катаются по любой поверхности. Так и ходил, тогда это даже модно было — чтобы всякие буквы и слова на одежде. Футболки-газетки, помните?

— Хорошо, — сказал Тоши, — несчастный случай, Марек, куртка-газетка. Случились удивительные события. И что?

— А вам хотелось выпить второй бокал? — вопросом на вопрос ответил Паланеску. — Хотелось?

— Да, — признался Тоши, — очень.

— Вот и мне, — усмехнулся Паланеску, — хотелось. И второй раз я аккуратно собрал всё в бутылочку. Жидкость сразу после сбора сама делится на две фракции, они не смешиваются. Выпить можно только прозрачную часть. Причем очень дозированно, я тогда сделал большой глоток не разбавляя — так чуть не помер. От восторга. Это была очень старая женщина. И она была... — Паланеску некрасиво причмокнул, — невероятно вкусной. И после этого хотелось ещё сильнее.

— Им всем, — сказал Тоши, имея в виду гостей, — тоже так сильно хочется?

— Им-то? — Паланеску пожал плечами. — Им хочется гораздо сильнее, чем вам или, скажем, мне. Потому что большинство из них уже побывали на кухне, видите ли. И бокал напитка раз в неделю — это единственное, что у них есть. Остальное время они спокойные-спокойные... В жеребьёвке они, разумеется, не участвуют, если вы это хотели узнать.

— А чернила? — спросил Тоши.

— Чернила я тогда покапал на бумагу, увидел то, что увидели вы. Чернил было много, получилось страниц восемьдесят. Я перепечатал это дело на машинке, добавил рассуждений, вышло сто двадцать машинописных страниц. Отнёс в издательство. В марте вышел роман, а в начале мая она умерла, бабушка эта. И я вдруг понял, что я же её бессмертной сделал, понимаете, Самурай? Что я практически её освободил тогда. Она стала очень спокойной. Соображать начала просто великолепно, как молодая. Раздражаться по пустякам совершенно прекратила. Здоровье даже на поправку пошло, врачи удивлялись. Ну умерла потом, конечно, но она ж и была старенькая...

— Ну и деньги за роман получились очень кстати, — добавил Паланеску. — А когда кафе открыли... я не успеваю перепечатывать, страшное дело. Пять романов, не считая сборников рассказов.

— И хорошо продаются? — холодно спросил Тоши.

— Я работаю над этим, — потупив глаза, ответил Паланеску.

— Понятно, — сказал Тоши.

— Легкая фракция, — добавил Паланеску с досадой, — моментально испаряется. Моментально, на бумаге не остается ни следа. А без нее, как вы понимаете...

— Так что, — решил уточнить Тоши, — вообще никто не покупает?

— Ну, — поморщился Паланеску, — покупают, конечно... Но критики молчат. И пропажи, прямо скажем... Но, — перебил он сам себя, — не в этом же дело. Покупают, не покупают — какая вообще разница?! Вы подумайте, Самурай, — все эти люди... Ну да вот хоть Роберт ваш. Любовь Роберта Сан-Мигеля — само совершенство. Куда там Шекспиру. Я не шучу, не дёргайтесь так. Я правда так думаю. А прошёл бы год, ну максимум два — да он бы и забыл, как это — с ума сходить от вас. Вы бы в лучшем случае уютно засыпали, прижавшись к тёплой заднице. А теперь, — Паланеску поднял палец, — его любовь бессмертна. Она останется навсегда, навечно. Текст ведь значительно важнее человека, Самурай. Значительно. Вы это когда-нибудь тоже поймёте... Но вы ведь меня не убьёте? — вдруг забеспокоился Паланеску. — Подумайте, какой вам с этого прок?

— Не убью, — сказал Тоши, — а то ещё обессмерчу ваше имя ненароком.

— А в полицию пойдёте? — спросил Паланеску. — Не ходите, Тоши-сан, в полицию. У вас ничего нету, мистика одна.

— И то, — согласился Тоши. — И то. Пойду я, Иозеф. Светает. Спокойной вам ночи. Как он закрывается-то?

— Не знаю, — сказал Паланеску, — он сам открывается и закрывается тоже сам. Он всё сам. Самурай, они становились бессмертными, честное слово. Верьте мне. Честное слово.

Тоши вышел, аккуратно прикрыв за собой дверь, спустился на два пролёта вниз. Вернулся. Открыл дверь. Иозеф сидел в той же позе — в кресле, глядя в пол.

— А книжки-то как подписаны? — спросил Тоши.

— Марио Паэлло, — ответил Иозеф.

— Не знаю такого, — сказал Тоши.
— Я пока не слишком известен, — смутился Иозеф.
— А суп? — спросил Тоши. — Я мог заказать суп?
— Могли, — ответил Иозеф.
— И? — настойчиво спросил Тоши
— И ничего, — тускло сказал Иозеф. — Съели бы да домой пошли. С теми, кто заказывает суп в ночном баре, вряд ли что-то может случиться. — И, заметив выражение Тошиного лица, добавил: — Вы себе можете представить, что ваш Роберт заказал суп?
— Нет, — сказал Тоши, — не могу.

Самурай шёл, сжимая в руке нож. Как только он вышел на улицу, в руках у него снова был лишь кусок тёмного дерева странной формы. Конечно, он не станет им пользоваться, о чём разговор. Так, разве в руках подержать. С ножом в руке... зачем в руке — просто в кармане, всё было простым и ясным, все поступки — совершенными, а мысли — острыми как сталь. Как у настоящего самурая.

Он думал, что идёт домой. Но оказалось, что на Брайант он свернул налево (а надо было направо) и в задумчивости дошёл до самого моста. Было очень рано, на мосту было почти пусто — только парочка романтических туристов вдалеке.

«Никто не увидит, — спокойно подумал вдруг Самурай. — Никто ничего не заметит. Просто подойти сзади и очень быстро — раз, два. Я могу это сделать. Запросто».

Он нащупал в кармане нож, вытащил и не спеша пошёл по мосту к туристам. В свете фонарей лезвие отливало оранжевым. Поравнявшись с парочкой, он приветственно помахал свободной рукой.

— Ты дурак, Тоши-сан, — сказал кто-то у него в голове, ласково и насмешливо.

Самурай подошёл к парапету, широко замахнулся и бросил нож в залив.

— Аминь! — прокричал он торжественно, обращаясь к туристам. — Я убил василиска! Туристы нервно переглянулись.

— Это цитата, — пояснил Самурай, приятно улыбаясь. — Роберт Льюис Стивенсон, знаменитый английский писатель. Это цитата⁴.

Туристы снова переглянулись и быстрым шагом пошли прочь.

Он сел на корточки, прислонился виском к холодному железу парапета, задрал голову и стал смотреть, как постепенно с восходом солнца опора моста из бесцветной становится коричневой, а потом загорается наглым красно-оранжевым. Он сидел так довольно долго, пока из настоящего самурая не превратился обратно в Кимитоши Сато, менеджера группы разработки.

Потом он всё-таки пошёл домой.

Яна Вагнер

Лизина любовь

Лиза точно знает — когда-нибудь он уйдёт от неё. Это будет обычный день, такой же, как сегодня, и она не удивится, когда это случится, она уже решила, что ему будет просто её оставить — он может не бояться её слёз, потому что она не станет плакать. Она наблюдала, как он переходит к ней от той, другой женщины — по частям, кусочками, — она помнит первый раз, когда он остался на ночь, так просто и естественно, как будто нет в этом городе другой постели, половина которой ждёт его, с несмятой подушкой, на которую не ляжет в эту ночь ничья голова; потом, чуть позже, его первая рубашка появилась в её шкафу —

⁴ Р.Л. Стивенсон. Клуб Самоубийц.

только одна поначалу, он принёс эту рубашку так, как приносят в дом кошку, и когда он уехал утром, рубашка осталась, а Лиза распахнула шкаф и смотрела на нее издали, не решаясь к ней прикоснуться, — одна мужская рубашка, окружённая Лизиными платьями, и тогда она стащила с вешалок несколько этих платьев — торопливо, суеверно, скомкала, убрала и больше не доставала, как будто принесла их в жертву, и оставила вешалки пустыми — и жертва её была принята, рубашек его стало больше, а пустых вешалок совсем не осталось; на её глазах он перелистнул ту, другую женщину, как прочитанную страницу, — без сожаления, не оглянувшись, он оставил её с несмятой подушкой и пустыми вешалками в шкафу, без права на апелляцию, отмахнулся от её слез, от её слов, от её обиды, она просто перестала существовать — как будто исчезла, как будто её никогда и не было, и вот тогда Лиза увидела ясно и четко, что когда-нибудь ей придётся пережить день, когда он оставит и её, и с тех пор она готовится к нему.

Как раковый больной, которому дали три года жизни, Лиза наслаждается каждым днём, потому что знает им счёт. Они будут двигаться от десяти глинтвейнов в маленьком кафе на углу, когда невозможно разжать руки и расцепить взгляды, и официанты перестают задавать вопросы и просто молча меняют бокалы — красные потёки на стенках, на дне — треугольнички яблок, полная пепельница; от гостиниц, в которые приезжают за полночь и которые покидают в начале четвёртого, не стесняясь взглядов ночных портё, — прохладные простыни, ванн-близнецы с белыми махровыми полотенцами на полу; от объятий на глазах у таксиста, когда плевать, что он смотрит в зеркало заднего вида — к первому утру вдвоём, босиком на кухню — сварить кофе, сброшенное на пол одеяло, сигаретный дым и два бокала в мойке; к общим друзьям — разговоры, смех, его рука на её колене; к длинным, спокойным выходным за городом — тёплый свитер, треск дров в камине, отключенный телефон. Отпущенное Лизе время делится на части — разделила его не она, но границы видны ей так четко, словно она сама их нарисовала, — до первой такой границы он ещё любит её — всю; спит, обхватив её руками, положив левую ладонь ей на грудь, — по ночам она чувствует его тёплое дыхание на своей шее, и когда он засыпает, она боится пошевелиться, чтобы не потревожить его сон, он греет в руках её замерзшие ступни, внимательно смотрит ей в глаза — сейчас ему ещё важно, о чем она думает, и Лиза прячет от него свои настоящие мысли не потому, что это так уж необходимо, — ей просто нужно научиться этому до того, как у неё не останется права на ошибку.

И она научится, конечно — нет вещей невозможных для женщины, которая хочет остаться счастливой. Лиза придумает фильтр, лёгкую, полупрозрачную ширму, шёлковую паутину, которая будет задерживать жалобы, усталость и раздражение, — ей известно, что мужчина смотрит прямо, а не под углом, и ничего не ставит под сомнение, если увиденное достаточно отчетливо. Перед тем, как заснуть, Лиза будет осторожно выпутывать из своей паутины горькие мысли, разглаживать её и готовить к завтрашнему дню — это окажется настолько просто, что она забеспокоится — ведь не может быть, чтобы никому до неё это не пришло в голову, и тогда она начнет рисовать на своей паутине — улыбки её сделаются чуть ярче, глаза — чуть нежнее, Лиза хороший художник, никаких густых мазков, только тонкие штрихи, очень важно понимать, что это не маска, между прочными нитями по-прежнему будет видно Лизу, живую и тёплую, а на ощупь и вовсе ничего не будет заметно.

К моменту, когда она на самом деле понадобится Лизе, паутина будет совершенно готова — тонкая, звенящая, отсекающая слёзы, слабости и обиды, и Лиза привыкнет к ней настолько, что перестанет её чувствовать. Как раз в это время любовь, которую Лиза вызывает в нем, станет тоньше — она по-прежнему будет любовью, но впервые горизонт как будто придвинется, станет виден берег — и Лиза не удивится этому, просто внутри у неё кто-то тихим, спокойным голосом скажет — «так», Лизе известно, что ничего плохого ещё не случилось и до самого страшного пока далеко, есть ещё время, нужно просто заново построить войска, выровнять ряды, и она займется этим почти с облегчением — как человек, чьи ожидания, наконец, подтвердились, а ведь это означает всего лишь, что он всё делает правильно.

Здесь Лиза станет другой — но сделает это осторожно, внимательно следя за тем, чтобы не перейти границы; она аккуратно поменяет полюсы — заплачет в том месте, где раньше смеялась, проявит беспомощность там, где раньше справилась бы и сама, и даже позволит себе иногда быть капризной, как маленькая девочка. Она сменит причёску и немного похудеет — она покажет ему новую, незнакомую Лизу, которая снова очень понравится ему, — всё же не случайно он так сильно полюбил её в самом начале, — это будет, все тот же парный танец, но движения в нём будут другие, и ему опять станет интересно танцевать с ней. Для Лизы не секрет, что это искусственная реанимация, — но ей будет тепло от мысли, что она и так получила больше, чем рассчитывала, и, кроме того, это даст ей немного времени, чтобы подготовиться к следующему этапу, — дальше будет самая сложная часть, и Лиза боится, что сил ей может не хватить, и она рада передышке.

Сколько бы ни длилась эта отсрочка — если Лизе повезёт, она выиграет год, а может быть, даже несколько лет, — она непременно закончится, ведь на свете нет ничего вечного, и в особенности — это Лиза знает точно — это касается счастья. День, когда он больше не захочет танцевать совсем, какие бы движения она ему ни предлагала, когда он просто не заметит, улыбается она или плачет, потому что взгляд его соскальзывает и больше не задерживается на ней, обязательно наступит — голос у нее внутри громко скажет — «ну, вот», и тогда она выпрямит спину, поднимет голову повыше и затаит дыхание, потому что сейчас ей нельзя сделать ни одного неверного шага, она почти уверена, что справится, и старается не дрожать, чтобы не сбиться с ритма.

Возможно, он сам ещё не понимает того, что уже начал уходить от Лизы, — пока он возвращается каждый день, ест то, что она ему приготовила, спит в её постели, отпечатки его присутствия в её доме — чашка с кофейной гущей в раковине, капли воды на полу в ванной после того, как он примет душ, — ещё четкие и горячие и не успевают остыть между его уходами и возвращениями; его рубашки по-прежнему висят в Лизином шкафу — все до одной, она наизусть знает, сколько их, и не пропустила бы пустую вешалку. Пока она готовит для него ужин и позже, уже сидя с ним за столом, Лиза ловит себя на том, что каждый кусочек, приготовленный для него, нашпигован её пронзительной мыслью — останься со мной, она смотрит, как он ест, и боится, что он заметит эту мысль, что она камешком скрипнет у него на зубах, что он поперхнется и разгадает несложную Лизину ворожбу, и она пытается хотя бы не смотреть так пристально.

Лиза знает, что даже когда у него появится предлог, чтобы уйти, он не сделает этого в один день — он будет колебаться, думает Лиза (и она права), он решится не сразу — в том, что он решится рано или поздно, Лиза уверена, теперь она просто старается хоть немного продлить его сомнения. Как неумелый стрелок, который боится того, что при малейшей ошибке его сразу же вызовут на дуэль и непременно убьют, она ходит теперь на цыпочках, взвешивает каждое слово и ведет себя ещё осторожнее, чем всегда, — а мы знаем, как осторожна Лиза, — чтобы не дать ему повода убить её. Она знает, что это случится всё равно — в конце концов, все мы смертны, — но считает победой каждый отвоёванный день жизни, особенно после того, как наступает день, когда первая его рубашка не вернется на свое место к вечеру, — с этого дня Лиза каждый раз мысленно считает до пяти, прежде чем заговорить с ним, — она считала бы и дольше, но пауза не должна быть неприлично длинной, это может быть заметно, правда? Маленький солдат, Лиза начинает отсчитывать шаги до линии огня, начинает прощаться с ним — время, исчисляемое годами, закончилось, и счёт уже идёт на месяцы, возможно, даже на недели, и по ночам отныне она обнимает его жадно, впрок, только теперь для этого приходится дожидаться, пока он заснёт, — ведь он больше не радуется её объятиям, а ей больно, когда он отводит глаза, застывает и пытается думать о чём-то другом. Обнимая его, она больше не старается внушить ему «останься со мной», теперь ей нужно всего лишь задержать его ещё на какое-то время — хотя бы до зимы, думает она сначала, а потом она думает — ещё на неделю, а затем, уже в самом конце, — пожалуйста, ещё не завтра.

Как ещё можно назвать это, если не дуэль, — он ищет удобного момента, чтобы

поговорить с ней, и Лиза чувствует, что впервые за долгое время он очень внимательно смотрит на неё, поэтому, пока у неё есть силы, она не даёт ему такой возможности — сегодня она весела и ласкова, и серьёзный разговор был бы неуместен, завтра она больна, зависима и печальна, и было бы жестоко добивать её; Лиза с её легкими ногами, ясными глазами, с её шёлковой паутиной — слишком сложный противник для него, привыкшего к невидимым рельсам, по которым течёт их общее пока ещё время, — она знает все его настроения, может истолковать любое выражение его лица, угадать и предвосхитить любую его фразу. Лизе тоже трудно — она так привыкла помогать ему чувствовать, она почти дышит за него, а теперь она переживает его недоумение, его беспомощность и тревогу и вынуждена помочь ему ещё раз: она выбирает день, когда чувствует в себе чуть больше сил (всё-таки хорошо, что она может выбрать день), и на время убирает защиту. Она обещала себе, что не станет плакать, и она не кричит, не плачет, и разговор, которого он так боялся, оставляет у него чувство облегчения и признательности к Лизе, которая нежно улыбается ему, много раз повторяет «я понимаю», провожает его до двери, закрывает её за ним, и только после этого садится на пол в прихожей и ещё несколько нескончаемых минут безуспешно пытается вдохнуть.

Если забыть об этих минутах на полу в прихожей, Лиза даже рада тому, что осталась одна, — она устала делать вид, что ей не больно, и теперь, когда он не смотрит, она может ходить, ходить по улицам, не следить за выражением лица, может перестать есть, лежать на полу, слушать песню Purple Rain и не вытирать слезы, может, наконец, не улыбаться — как же ей это надоело — улыбаться нежно, понимающе, удовлетворённо после любви, восхищённо, Лизе кажется, она не захочет больше улыбаться никогда — а ведь ей придётся, просто есть ещё немного времени до следующей встречи с ним (то, что она произойдёт, Лиза знает наверняка), — и она использует это время, и не улыбается совсем.

Именно потому, что она не может пока улыбнуться, она не соглашается встретиться с ним, когда он звонит узнать, как у неё дела — он хочет видеть Лизу, хочет убедиться, что она в порядке, он хочет, — и, если вдуматься, это не так уж и странно — рассказать о том, как он счастлив, именно ей ведь у него нет пока на земле человека ближе, чем Лиза, и она никогда прежде ещё не подводила его. Она отказывает ему аккуратно, зная, что он позвонит ещё, и, положив трубку, отправляется к зеркалу и учится улыбаться заново. Всё, что делает Лиза, получается у неё хорошо, — когда он снова звонит, она для тренировки улыбается в телефонную трубку и остается довольна результатом — это значит, что она может разрешить ему приехать навестить её.

Нет смысла описывать их первую встречу — впрочем, как и несколько последующих, для нашей истории имеет значение то, что после первой встречи последует вторая, а затем ещё одна, — от Лизы трудно отказаться совсем, к тому же — он так виноват перед ней, к тому же — ему почему-то важно убедиться, что ей, оставленной им, действительно плохо, — она так смиренно переносит его уход, но печаль трудно скрыть, хотя она не плачет при нем — по-прежнему не плачет, и никогда не жалуется, а ещё ей иногда бывает нужна его помощь — какая-нибудь мелочь, которая легко даётся ему, и так важна для неё, и она рада его советам — она пропадёт без них, слабая, непрактичная Лиза, ведь нет ничего плохого в том, чтобы чувствовать ответственность за женщину, которую любил когда-то. Его новая женщина так не считает — она предпочла бы, чтобы Лиза оказалась сварливой, обиженной, неумной, или, может быть, сильной и самолюбивой, поэтому Лизе предстоит ещё одно испытание.

И вот Лиза сидит в кафе напротив женщины, у которой в шкафу теперь висят его рубашки, у которой на полочке в ванной лежит его бритва, женщина взволнована, горда и много говорит, у них с Лизой разная работа — женщина пытается не торжествовать слишком явно, а Лиза — Лиза смотрит на неё и старается думать о том, что женщина эта перед ней ни в чём не виновата, и убрать жёсткость из своего взгляда. Она совсем не волнуется и не опускает глаз, и даже может улыбнуться, правда, для того чтобы отпить кофе, ей приходится быстро наклонить голову и нырнуть вниз, к чашке, и глоток получается совсем маленький, а когда женщина, которая забрала его, выходит в туалет, Лиза быстро садится на свои руки, и

сидит на них, и крепко зажмуривается, и открывает глаза как раз в тот момент, когда кресло напротив снова оказывается занято. Её никогда не били, даже папа, даже в школе, ещё ни один человек во всем мире не смог ударить Лизу — и поэтому женщина, забравшая его, уходит из кафе и чувствует очень много разных вещей, но только не торжество.

А дальше Лиза ждёт. Она знает — ах, Лиза, она знает так много, что иногда ей кажется, что было бы легче без этого знания, ведь тогда она могла бы вздрагивать от телефонных звонков, искать взглядом его машину возле подъезда, купить новое платье, делать все эти замечательные глупые вещи, которые только на первый взгляд разрушают, а на самом деле заполняют собой пустоту, — но нет, в голове у Лизы календарик, в котором на ближайшие несколько лет одна запись — дышать каждый день. И Лиза дышит. Ещё она ест, ходит в кино, моет посуду; закинув руку за спину, вытаскивает запутавшийся ценник в примерочной кабинке, получает новую должность, обрезает розы под струей воды, меняет резину на зимнюю, потом — на летнюю. Лиза спит с другими мужчинами (с кем-то ей нужно спать, а он сейчас слишком влюблён в ту, другую), — и это приятно, ведь она может не делать вид, что кончила, и потому на самом деле кончает — не каждый раз, конечно.

На исходе первого года жизни без него Лиза знает, что по ночам он больше не кладёт ладонь на грудь женщины, в шкафу которой висят сейчас его рубашки, и спит теперь, отвернувшись, на своей подушке. Он не рассказывает ей об этом — но ему и не нужно рассказывать, это правило существует само по себе, и это ещё одна причина, по которой Лиза согласилась слушать эту женщину над дымящимся кофе, — ей важно было увидеть, имеет ли смысл её ожидание, она была почти уверена, но нужно было убедиться; зато теперь она перед сном может представить себе, как он ровно дышит во сне, и осторожно лечь между ними, повторяя очертания его тела.

Ошибки, которые совершает женщина, ради которой он её оставил, предсказуемы и понятны Лизе — вот она обиженно молчит, вот отмахивается от его нежности, вот подшучивает над ним при посторонних, пытается заставить его ревновать, у неё плохое настроение, вот она кричит, плачет, некрасиво морщит лицо, у женщины нет Лизиной шёлковой паутины, и все её оглушительные, жадные желания ничем не прикрыты, никак не спрятаны, и он не может о них не споткнуться — он всё ещё любит эту женщину, ещё ищет в ней радость, но ему уже зябко возле неё — хорошо, что по-прежнему есть Лиза, спокойная и улыбчивая, которая рада ему, не задаёт вопросов, не говорит ни слова о той, другой (которая выплёвывает Лизино имя в ссорах), не прикасается к нему (не потому, что ей не хочется, — просто ещё не время), уклоняется от разговоров о себе, которая читала все его любимые книги, которая ничего не поменяла в доме, где он жил с ней когда-то, где в шкафу остались пустые вешалки, на которых раньше висели его рубашки. Когда он приезжает навестить её (нечасто), дом обнимает его с жадностью любящей женщины — ведь Лиза пока не может этого сделать сама.

Внутри у Лизы — живой, точный, чутко настроенный на него сонар; как осторожная летучая мышь, она посылает к нему невидимые сигналы, несущие ей отражение его мыслей раньше, чем он успевает их осознать, и поэтому она подойдёт на шаг ближе и поднимет к нему своё лицо именно в тот день, когда он впервые после всего, что случилось с ними, задаст себе вопрос — позволит ли она поцеловать её, изменилось ли её тело, какова теперь её кожа на ощупь, — и, пока он разбирается с ответами на эти вопросы, Лиза обхватывает его ногами и думает не об удовольствии, она снова проверяет свою маленькую армию, меняет строй и расположение войск, потому что это, конечно, ещё не победа (она не настолько наивна), а всего только маленький шаг в её сторону.

Думаю, нам пора оставить Лизу именно здесь — впереди у неё ещё много длинных дней, наполненных осторожными движениями и взвешенными словами. Как бы ни закончилась эта история, нет нужды беспокоиться о ней — может быть, он вернётся, привезёт обратно все свои рубашки и снова будет спать рядом с ней, тесно прижавшись, согревая её шею своим дыханием, и вполне возможно даже, что он не захочет больше никуда

уходить от неё, и она будет смотреть, как он стареет, проводить пальцем по его лбу в том месте, где волосы начинают редеть, в ожидании дня, когда можно будет распустить свою армию по домам. А может быть, не дождавшись этого дня, Лиза оставит его сама, отмахнувшись от его уговоров, не слушая упрёков, и уйдет, и освободится. Будет ли она после этого счастлива? Возможно, что не будет. Но она, наконец, будет спокойна.

Дура

По пути на кухню за чистыми бокалами Саша чуть скашивает глаза и сквозь балконную дверь видит тёмный силуэт мужа и рядом с ним, чуть ближе к свету, Алисину невысокую фигурку, они стоят на балконе и курят — единственные, кто за последний год не поддался всеобщему стремлению к жизни без сигарет, и теперь их обоих во время застолья всякий раз изгоняют из-за стола, даже в ресторанах им приходится выходить на улицу — большинством голосов теперь выбираются стерильные некурящие залы, где на столиках вместо пепельниц маленькие бесполое букетики и где они ровно спустя четверть часа ловят друг друга взглядом, одновременно встают и начинают пробираться к выходу — часто случается, что под конец вечера они перебираются на улицу совсем — Алиса сидит в платье прямо на краю тротуара, заталкивая окурки в канализационную решётку, в его пиджаке на плечах, время от времени он скрывается внутри и выносит ей коктейли.

Все привыкли к этой их отдельности настолько, что даже перестали шутить по этому поводу. Открывая дверь, Саша говорит — ну наконец-то, сколько можно опаздывать — все собрались, но он без тебя такой скучный, за сорок минут не произнёс ни слова, и — ему — приехала твоя собутыльница, давайте только без конкурсов в этот раз, ладно, в прошлую пятницу залили весь стол своей текилой, побили рюмок, мы вас еле растащили по кроватям; спустя несколько часов Алиса кричит ему через стол — вот! да! эта песня! ты знал! — и он вскакивает и делает погромче, заглушая разговоры, а она торопливо, цепляясь чулками, выбирается сквозь чужие ноги танцевать, муж её при этом разводит руками, улыбаясь, и говорит — ну пока, дорогая, и все смеются; ещё часа через три — кто-то уехал, кто-то, зевая, ждёт такси в гостиной, а они вдвоём сидят на кухне и стучат маленькими текильными стаканчиками, громко крича — пять! шесть! — и Саша просовывает голову в дверь и говорит ему — да тише вы, разбудите Катюку, он тихонько стучает рюмкой по столешнице и шёпотом говорит — семь, и потом, громче — эй, ты не выпила! — и Алиса смеется — заметил, наконец, я уже третью пропускаю, как ребёнок, ей-богу.

Изредка появляющиеся в компании новые люди переглядываются и поднимают брови, и нередко заводят осторожные разговоры с Сашей или с Алисиным мужем, но муж Алисы слишком насмешлив с чужаками и на вкрадчивые полувопросы отвечает — мы по пятницам меняемся женами, вас что, не предупредили, а от Саши намеки и вовсе отскакивают, как шарики для пинг-понга, она улыбается — очень вежливо — и как бы ждет продолжения незаконченных фраз, которые невозможно произнести целиком, не оказавшись бестактным, и которые повисают в воздухе без ответа.

Разумеется, это спокойствие было с Сашей не всегда — лет пять назад она ещё не научилась следить за лицом, в самом начале — и сейчас ей неловко об этом вспоминать — она затеяла с ним несколько неприятных ночных разговоров, которые только его рассмешили, какое-то время она боялась оставлять их с Алисой наедине, разогнав прочих гостей и роняя голову на стол, пыталась досидеть с ними до утра, теряя нить их разговоров, не улавливая смысла шуток, ей не удавалось столько выпить столько не спать, она никак не могла научиться разбираться в музыке, которую они обожали, и бросала книжки, которые они совали друг другу, после десятой страницы. Когда силы оставляли её, Саша сдавалась, уходила спать, но в любой момент заглянув к ним позже, она заставляла их только и исключительно за разговорами.

Одно время, когда уже было ясно, что ей не удастся сдвинуть в сторону глыбу этой странной дружбы, она старательно пыталась быть красивее — и не было в её жизни ни

раньше, ни когда-нибудь потом периода, когда бы вопрос выбора одежды стоял так остро, так мучительно, — она всякий раз трижды переодевалась даже перед простой поездкой в лес на шашлыки, не говоря уже о каких-нибудь более торжественных поводах, — и ей так ни разу и не удалось попасть в точку, в платье с открытой спиной она чувствовала себя разряженной душой рядом с Алисиными простыми черными брючками, а стоило одеться проще — Алиса появлялась в шелковом футляре с длиннющей ниткой жемчуга вокруг шеи, и Сашу опять начинало преследовать чувство собственной невыносимой неуместности. Алисе всё было к лицу, всё у неё было к месту — и рваные джинсы, и шелк, трёх небрежных движений было ей достаточно, чтобы превратить её обычные мальчишечьи вихры в гладкую вечернюю причёску с блестящим пробором, в отчаянии как-то раз Саша чуть было тоже не остригла волосы — но, поделившись этой идеей с мужем, вызвала у него панический ужас, Шурик, ты рехнулась, такая роскошная грива, даже не думай, и вовремя остановилась.

Алиса была всегда. С самого начала он рассказывал о ней слишком много, они вместе учились, потом работали, соревнуясь карьерами, как-то раз, давно, отдыхая дикарями в Крыму, даже вместе дрались с какой-то местной шпаной, Алиске разбили губу, я её еле оттащил, она совершенно ненормальная, говорил он Саше с гордостью, и из-за этого Саша больше волновалась перед встречей с ней, чем перед знакомством с его родителями, — её не покидало нелепое ощущение, что именно Алисе она должна понравиться, она была заранее раздражена и, неожиданно для себя, поняла, что она действительно, по какой-то непонятной причине понравилась Алисе, а та, вопреки здравому смыслу, понравилась ей.

Степень неприличной, бесполой интимности, существующей между ними, поначалу шокировала Сашу — ты поменьше корми его, раньше бегал по бабам, был поджарый, а с тобой успокоился и кабанеет, говорит Алиса и хлопает его по животу — испуганно метнувшись глазами к его лицу, Саша видит, что он улыбается; позже, вечером спустя полбутылки текилы, они обсуждают Алисиных любовников — соскочит, мне кажется, говорит Алиса горестно; жалко, такого марафонца так сразу и не найдёшь, он отвечает — сиськи у тебя прекрасные, девочка моя, но ты опять раньше времени открыла рот, правда, как я тебя учил, — никто не любит умных баб, не надо ему про Доу-Джонса, улыбайся и молчи, мне скучно молчать, ты же знаешь, говорит она, знаю, говорит он, знаю.

Аписин муж не ревнует к нему — так думает Саша, — хотя в точности этого не знает никто, впрочем, он не такой уж давнишний, этот её муж, и прав у него пока не так уж и много, а тот, что был до него, исчез совершенно по другому поводу, Алисе не везёт с мужчинами — это вечная тема для шуток между ними, над которыми смеётся даже она сама; когда Саша упрямится, он говорит ей — не включай мне Алису, а как-то в постели, под утро, после очередной красочной Алисиной ссоры с мальчиком у них на кухне, он говорит — я бы на его месте дал ей в зубы как следует разок, и Саша потом долго лежит без сна, слушая его ровное дыхание, и думает, что же именно он хотел сказать.

Всё переломилось вдруг, когда Саша была беременна Катькой, — заботливый, предупредительный, он в правильных местах беспокоился и очень её баловал, но она вдруг остро осознала отсутствие плотской радости, которая всегда была между ними раньше, — возможно, оттого, что ей самой стало сложно любить своё обезображенное беременностью тело, стоя у зеркала, она рассматривала выпученный, чужой живот, выросший на ней к седьмому месяцу, — твердый, с какой-то жуткой черной полоской шерсти ниже пупка, у неё отекло лицо и щиколотки, а руки — раньше тонкие, покрытые золотистым пухом, с четким контуром мышц под светлой кожей — вдруг провисли, и любая маечка оставляла на них уродливые следы, ей стало душно спать с ним, как прежде, ложкой, и во сне она сбрасывала его руку. Она слишком хорошо его знала, чтобы не обратить внимание на его раздражение, которое он пытался в себе гасить, а затем, даже раньше, чем он сам, она отчетливо и бессильно вдруг увидела, с кем именно он ей изменит, и потом уже только наблюдала, отмечая про себя этапы, с ужасом понимая, что не может помешать этому, потому что за всё время, которое успела прожить с ним рядом, не сумела придумать языка, на котором могла бы поговорить с ним об этом, и сейчас была слишком слаба, чтобы бороться. Он выбрал

самый лёгкий и привычный вариант — следя за Алисой, Саша не смогла вовремя сбросить нескольких своих вечно голодных, малоискренних друзей из прошлой жизни, одна из которых с радостью ответила и подхватила его внимание, и хотя его увлечение было явно неглубоко и временно, Саша задохнулась от боли, сжалась и — неожиданно — расплакалась Алисе в телефон, а Алиса — так же неожиданно — вдруг приехала, села близко, рядом, молча выслушала Сашины слёзы, а после коротко обняла её и сказала — не будь душой, не реви, иди уже и накрась глаза наконец, сейчас мы порвём эту козу, и буквально за пару следующих вечеров уничтожила Сашину подружку-стервятника начисто, несколькими мазками — Алисе было можно всё, и она хамила, провоцировала, задирала её до тех пор, пока не вызвала у неё омерзительную истерику, после которой они с облегчением посадили её в такси и полчаса потом все вместе, на кухне, брезгливо обсуждали случившееся — в эту ночь Саша засыпала спокойно, не сбрасывая его руки, чувствуя, что всё закончилось.

С этого момента жить стало как-то проще и понятнее — а когда в два года Катька вдруг заболела, тяжело и, как всегда это бывает с маленькими детьми, непредсказуемо, Саша уже не удивилась тому, что именно Алиса — когда оба они с мужем растерялись и повисли в воздухе, сами превратившись в испуганных детей, боящихся принять неправильное решение, — перевернула вверх дном весь город, через своих многочисленных родственников нашла лучшего в округе доктора, буквально встряхнула их за уши и заставила проснуться, поверить в то, что всё будет хорошо, и вылечить Катьку; а когда та поправилась, Саша, с её аллергией к церковным обрядам, почти до смерти удивила мужа тем, что предложила крестить дочь и — главное — сделать Алису крёстной матерью, и сама поговорила с ней об этом — бездетная Алиса сопротивлялась какое-то время, говорила — Сашка, иди ты к чёрту, к чему твоей православной девке еврейская крёстная мать, но после сдалась, купила Катьке умопомрачительный какой-то крестик — я вас знаю, жадные говнюки, купите какую-нибудь хрень железную на нитке, а детке потом позориться, — а на крестинах долго вполголоса шипела на священника и потом расплакалась вместе с возмущённой Катькой, прижимая её к себе.

По пути в кухню за чистыми бокалами Саша замирает возле балконной двери и скрытая непрозрачной шторой, сквозь кусочки разговоров, музыку и смех за спиной слышит обрывок Алисиной фразы — «полёт нормальный, шеф, бабу он себе уже завёл, даже если я проявлю чудеса терпимости, мы продержимся до осени максимум, не говори ничего, я все знаю, только, твою мать, ещё позже открывать рот — этак я вовсе, пожалуй, разучусь разговаривать, ты же знаешь, я так не умею, пора просто признать — неталантлива я в этом плане, может, мне уже пора на девочек переключиться, как-то у меня с ними лучше получается», а после Саша слышит голос своего мужа, который говорит — ты дура, боже, ну какая же ты дура, и его интонация — нежная, настойчивая, отменяет смысл сказанного почти полностью — я ненавижу таких баб, как ты, ты же всегда права, вечно ты споришь, всё знаешь лучше, ругаешься, как грузчик, рот бы тебе вымыл с мылом, ты говоришь — «блять», а я терпеть этого не могу, вечные эти твои выебоны, перегнуть бы тебя прямо здесь, через перила, одно твоё слово, я люблю тебя, ты, дура, все мои друзья знают, жена моя всю жизнь к тебе ревнует, одна ты ничего не видишь, рассказываешь мне про своих идиотов, столько лет, невозможно — и пауза, и Саша стоит тихо, боясь шевельнуться, и не заглядывает за штору, не хочет видеть — что там, и потом слышит Алисин охрипший голос ~ знаешь, иди-ка ты к жене, и потом тихо ещё какое-то время, а после опять — какая же ты дура, говорит он после паузы, и голос его звучит устало.

Здесь Саша быстро идёт в направлении кухни, и набирает полные руки бокалов, и какое-то время стоит ещё, приводя лицо в порядок, а после входит в гостиную, расставляет чёртовы бокалы на столе, садится, улыбается гостям и пытается поймать ускользающий хвост разговора.

В это время он щелчком выбрасывает недокуренную сигарету куда-то вниз, в зелёные кроны деревьев, и пока Алиса смотрит на россыпь искр внизу, тихо закрывает за собой балконную дверь. В гостиной он садится рядом с женой и чувствует, как она, не прерывая

разговора, незаметно сжимает его плечо.

Алиса стоит на балконе ещё какое-то время, затем достаёт из пачки ещё одну сигарету и щёлкает зажигалкой. Когда она возвращается в гостиную, Саша поднимает на неё глаза и почти незаметно улыбается ей.

Ловушка

Ловушка, захлопнувшаяся над её подругами в восемнадцать, миновала её одну — удивляясь, она наблюдала за тем, как её красивые неглупые девочки одна за другой, как будто торопясь, выхватывают из бессмысленной толпы ровесников любого, первого, и начинают увлечённо играть с ним в семейную жизнь — ни одной яркой истории, думала она, какие-то дурацкие, нелепые суррогаты, они ведь не могут всерьёз считать, что именно это — настоящее? Она вежливо бывала на свадьбах, аккуратно, чтобы никого не обидеть, произносила банальные поздравления, подписывала открытки, незаметно уклонялась от летящих букетов, улыбалась, но не испытывала ничего, кроме досадливой неловкости.

С той же неловкостью она наблюдала за тем, как они дурнеют, беременеют, рожают, изредка бывая у них и принося обязательные мягкие игрушки и шоколадки, пыталась нащупать темы для разговора, вглядывалась в лица — и не узнавала, как будто их выдернуло в какую-то параллельную реальность. Постепенно ей стало понятно, что им гораздо проще друг с другом, — её пугали и раздражали их капризные, требующие постоянного внимания младенцы и мужья, и это раздражение не всегда удавалось скрыть; постепенно у неё возникло чувство, что она осталась одна. Наверное, это было и грустно, и странно, и несправедливо, но её не оставляло ощущение, будто она выиграла в какую-то лотерею, о которой другие не знали, — никто не торопил и не подталкивал её, родители, напротив, были рады её как будто продлившемуся детству, она не спеша ходила на лекции, в кино, на свидания, была уверена, что всё самое главное случится с ней когда-нибудь, позже, и была абсолютно спокойна.

Ей всегда было очень просто с мужчинами — тонкая, насмешливая, безразличная, она в любой компании привлекала к себе внимание, ей никогда не приходило в голову щадить их самолюбие, как-то сглаживать углы, чувствовать себя обязанной — она с лёгкостью принимала от них подарки ухаживания и опеку, их попытки произвести впечатление казались ей прозрачными и забавными одновременно, в любых, даже вполне романтических ситуациях она как будто оставалась снаружи и чуть сверху, ей было даже жаль, что не с кем на минутку отбежать в сторону и немного посмеяться. Мама как-то сказала ей — малыш, такое ощущение, что, когда молоденьким девочкам раздавали розовые очки, тебе они не достались — в целом, я рада, я только надеюсь, что это не сильно мешает тебе в жизни.

У неё было пять любовников — сначала, подряд, два мальчика-ровесника, которые быстро надоели ей своей незамысловатой преданностью и нытьём и потому не оставили ни сожаления, ни приятных воспоминаний; потом один модный журналист от шоу-бизнеса — он был не очень молод и не очень, в общем-то, хорош собой, зато язвителен, остроумен и изобретателен в постели — какое-то время ей льстило его внимание, нравилась лёгкость, с которой он организовывал гостиничные номера на несколько часов, пока она рассеянно курила, рассматривая рекламные брошюры на стойке, — он, правда, довольно быстро охладел к ней, но она совсем не переживала, потому что совершенно не влюбилась; четвёртый — преподаватель в институте, которого она соблазнила сама — из любопытства, заметив, как он путает слова и сбивается во время лекций, встретившись с ней взглядом, он был старше её всего лишь лет на семь, немного заикался и оказался неожиданно темпераментным любовником — в тот единственный раз, когда они занимались любовью в его заваленном бумагами кабинете, он даже не заметил, что со стола, на котором все происходило, упала и разбилась настольная лампа. Пятым был муж одной её приятельницы — достаточно дальней, чтобы не чувствовать себя виноватой, но знакомой настолько, чтобы можно было изредка пересекаться в общих компаниях, вести ничего не значащие разговоры,

снимать туфли под столом и незаметно гладить его босой ногой, позволять наспех целовать себя на балконе, испытывая щекочущее чувство опасности. Встречи с ним наедине были, к сожалению, не настолько же увлекательны, и когда он вдруг заговорил о том, чтобы оставить жену, она быстро бросила его.

В этот момент мыльные брачные пузыри её подруг один за другим полопались, и те стали возвращаться к нормальной жизни — похудевшие, помрачневшие, они, казалось, по одной всплывали на поверхность из глубины. Она радовалась их возвращению, но они опять оказались все вместе — и как будто отдельно от неё, принялись исправлять ошибки, зарабатывать деньги, пристраивать детей в садики, она опять чувствовала себя лишней, когда через её голову они об этом рассказывали, ей даже почему-то скучно было говорить с ними о мужчинах, на которых они набросились, будто бы что-то навёрстывая, с таким же жаром, ей был непонятен этот неумеренный азарт, эта спешка, как будто все необходимо успеть в ближайший год — она как раз заканчивала свою неторопливую учёбу и так же спокойно раздумывала о том, что стоило бы пойти работать — было бы приятно ходить на службу в какой-нибудь маленький офис, купить несколько строгих брючных костюмов и шёлковых блузок, что-нибудь тихое, без авралов и переработок, — мысль была несрочной, её родители были щедры, а разные милые мелочи с радостью брали на себя мужчины, с которыми она встречалась.

Именно в этот момент она вдруг решила выйти замуж. Он ничем не отличался от остальных — был не красивее, не умнее и даже не успешнее, но ей понравилось спокойствие, с которым он за ней ухаживал, надёжная регулярность их встреч, внимательная немногословность, с которой он слушал её, когда она за ужином, размахивая руками, полчаса пересказывала сюжет понравившегося фильма, его как будто никогда не задевала её обычная насмешливая манера разговаривать, он не предъявлял к ней никаких требований и не заявлял никаких прав на неё, она была благодарна ему зато, что он был неизменно сдержан, не терял голову и не заставлял её чувствовать неловкость, которую она часто испытывала с другими, — её давно перестало забавлять, когда взрослые, неглупые, симпатичные ей люди вдруг, захлебываясь эмоциями, начинали произносить банальности и вели себя как школьники. Она встречалась с ним чаще и чаще, а когда, спустя полгода, он так же спокойно заговорил с ней о замужестве, она неожиданно легко и сразу согласилась.

Если родители или друзья и были удивлены тем, что из множества мужчин, окружавших её, она выбрала именно этого, ей об этом не сказали. У неё никогда не было привычки откровенничать с кем бы то ни было, поэтому она не ждала ни одобрения, ни вопросов, его приняли — и этого было достаточно. Довольно быстро она поняла, что его немногословность вызвана тем, что ему, как правило, просто нечего сказать, он был почти незаметен как в компании, так и дома, у него не было никаких особенных увлечений, иногда ей казалось, что, когда она выходит из комнаты — он исчезает и появляется вновь только с её возвращением. Тем не менее в компании её шумных, язвительных друзей он редко вызывал на себя огонь насмешек — возможно, потому, что почти никогда не заговаривал сам, если к нему не обращались, а если ему и случалось, вдруг оживившись, во внезапно наступившей тишине ляпнуть какую-нибудь глупость, — он же первый миролюбиво посмеивался над собой и никогда ни с кем не спорил. К нему быстро привыкли и относились мягко и с симпатией.

Всё это нисколько её не расстраивало. Он небыстро, но настойчиво делал карьеру, что позволило ей выбрать приятную, несуетливую и почти не оплачиваемую работу в маленьком издательстве одного из приятелей свёкра. Муж с одинаковой лёгкостью отпускал её одну, если ей хотелось пообщаться с друзьями без него, или отправлялся с ней и просто незаметно присутствовал где-то поблизости, — ей и в голову не пришло бы ждать от него остроумных реплик или переживать из-за его пассивности, он не мешал ей вести себя так, как ей хочется, она была свободна. Эта свобода была самым ценным её приобретением — от неё ничего больше не ждали, не нужно было ничего никому доказывать, она могла просто быть, жить

так, как ей хочется, — в то время, пока вокруг всех остальных постоянно бушевали какие-то невероятные штормы — мучительные разводы, вынимающие душу любовные истории, карьерные трагедии, банкротства, — она всего лишь наблюдала за этим со стороны, неомрачённая, как за остросюжетным сериалом.

Она была настолько безмятежна, настолько уверена в прочности своей вселенной, что не сразу поняла истинную причину частых визитов автора книги, которую она редактировала, — вопреки обыкновению, книга ей понравилась, ей было интересно поговорить с ним, она предложила пообедать вместе, — и спустя несколько минут они уже шли через маленький пыльный сквер, а ещё через полчаса — ещё даже не успели принести салат — она вдруг обнаружила, что совершенно не хочет есть, что говорят они вовсе не о книге, и что она неожиданно для себя краснеет под его прямым взглядом. Так же неожиданно для себя самой спустя несколько дней она обнаружила себя в его постели — это было удивительно ещё и потому, что он, казалось, не приложил к этому никаких усилий, она не успела поймать его ни на одной из тех плоских прозрачных уловок, которые так всегда её смешили, все, что он делал, всё, что он говорил, было хорошо, уместно и доставляло ей удовольствие, какое-то время она ещё сопротивлялась и по привычке искала в нём недостатки, над которыми можно было бы посмеяться, и с тревогой обнаружила, что он кажется ей безупречным.

Предоставленная свобода очень ей пригодилась — она не давала себе труда придумывать объяснения, когда они были вместе, отключала телефон или просто не брала трубку, она отставила в сторону подруг, бросила любимые прежде прогулки по магазинам и при любой возможности набирала его номер, чтобы условиться о встрече или просто переброситься парой фраз. За несколько месяцев они объездили дюжину гостиниц — ей было жаль тратить время на ужин, и, проголодавшись, они просто заказывали еду в номер, в перерывах между любовью ели в постели, отпивая по очереди вино прямо из бутылки. Она подняла бы на смех любого, кто ещё недавно предположил бы, что она, безмятежная, насмешливая, способна выучить все родинки на его теле, перечитывать его короткие нежные сообщения в памяти телефона, что ей покажется символичным, что её маленькая машинка — вдвое меньше, чем у него, — при этом такого же цвета, что она будет проводить время, набивая в Яндекс его имя, и жадно вчитываться в любые упоминания о нём.

Он часто ехал за ней следом до самого её дома, разговаривая с ней по телефону, поставив свою машину в гараж, она перебиралась к нему, и они проводили ещё полчаса или час вместе, скрытые за затемнёнными стеклами. В один такой вечер, опустив стекло, чтобы выбросить сигарету, она вдруг увидела мужа, стоящего прямо возле машины, — и, вместо того, чтобы испугаться, неожиданно для себя рассердилась оттого, что её так глупо поймали, — представив со стороны, как она выглядит — измятая блузка, волосы в беспорядке, она мгновенно почувствовала, как неуместно было бы сейчас придумывать причину, по которой она могла оказаться в машине с этим мужчиной, и сказала только — что ты здесь делаешь? Ему никогда не давались ловкие фразы, он внимательно посмотрел на неё и коротко — на её спутника, молчавшего рядом, наморщил лоб, но так ничего и не произнес вслух, и тогда она сказала — иди домой, я сейчас поднимусь, и, увидев, что он по-прежнему стоит и не двигается с места, повысила голос — иди домой, и тогда он повернулся и пошел к дому, а она смотрела ему вслед, возмущённая нелепостью того что только что произошло с ней.

Скандала не получилось — она не стала отпираться и призналась, к её удивлению, муж, в наивности которого она была так уверена, рассказал ей, что знает обо всём уже какое-то время, прочёл сообщения в её электронной почте, навёл справки о её любовнике у свёкра — пока он говорил, он ни разу не взглянул на неё, а ей вдруг стало ясно, что в её тайну посвящены все — родители мужа, её родители, хозяин издательства ~ друг семьи, слушая его, она думала о том, в какую пошлую и глупую западню она попала, и у неё стало горько во рту. В конце этого короткого, тихого разговора муж сказал, что готов дать ей время

разобраться во всём, собрал небольшую сумку и уехал к родителям, оставив её одну.

Началось странное время — зная, что все посвящены, она ожесточилась и отказывалась обсуждать ситуацию с мамой, подругами или коллегами на работе, ей так не хотелось примерять на себя смешную роль источника для сплетен и разговоров, каждое утро она приезжала в издательство, ни с кем не разговаривала, одна ходила обедать, вечерами иногда она встречалась с любовником, и редко — с мужем. Любовник был встревоженно нежен, но не настаивал на подробностях и, услышав от нее, что всё в порядке, успокоился, по какой-то причине она ни разу не смогла предложить ему провести ночь у неё, в пустой теперь квартире, и они по-прежнему прощались возле её подъезда. Муж говорил с ней тепло и участливо, интересовался её делами, но никогда не приезжал домой, приглашая её поужинать где-нибудь в городе, — она заметила, что он осунулся и как будто потемнел, и её сердце сжималось от жалости, но когда он изредка спрашивал, что им делать дальше, она не знала, что ему ответить, и просила дать ей больше времени.

Решать, собственно, было и нечего — она поняла вдруг, что никаких перемен ей не нужно, что ей не хочется цирка с разводом, с каким-нибудь разделом имущества, не хочется возвращаться к родителям, больше всего ей хотелось бы все оставить, как есть, не принимая никаких решений, но спокойствие ушло, время превратилось в сжатую пружину, все чего-то ждали от неё, но никто ничего не предлагал ей, а она давно определила для себя правило — никогда и ничего не решать, не брать на себя ответственности, не принимать участия в этой общей суматохе постоянного мучительного выбора и тянула время, и сердилась на них обоих — на одного за его покорную готовность ждать, за то, что, несмотря на эту покорность, он рано или поздно примет решение сам, — и это может быть не то решение, которое ей понравилось бы; на другого — за то, что он не помогает ей, не подталкивает, не принимает решения за неё. Они по-прежнему занимались любовью и много разговаривали, но что-то неуловимо изменилось — ушла какая-то лёгкость, виной тому была, возможно, и её теперешняя озабоченность, и то, что он был раздражён, — его книгу после непродолжительной и невнятной заминки отказались издавать, и ему казалось, что это произошло не случайно, а в наказание, и он много говорил об этом.

Постепенно, со странным облегчением она стала замечать, что его безупречность как-то потускнела, что её начинают раздражать его словечки и маленькие привычки, она уже не так поспешно брала трубку, когда он звонил, и не говорила с ним часами, какое-то время секс с ним по-прежнему был незаменим и важен для неё, но и это происходило всё реже, в один из дней вместо любимой гостиницы он привез её в пустующую квартиру своего приятеля, где прямо на пороге спальни, оглядев чужие вещи и подозрительное постельное бельё, лежащее стопкой на краю кровати, она вдруг поняла, что не хочет оставаться ни минуты с этим посторонним мужчиной, ищущим штопор на чужой кухне, выдавила из себя какое-то невразумительное оправдание и сбежала так поспешно, что застёгивала пряжки туфель уже в лифте.

Какое-то время она ещё жила одна, по инерции, понимая, что решать уже ничего не нужно — все разрешилось само собой, и к концу лета согласилась на несмелое предложение мужа лететь с ним в отпуск, после которого они оба вернулись домой и стали жить дальше в точности так, как жили раньше, словно не было этой странной, нелепой и неприличной истории, и ни она, ни муж, ни даже родители и друзья никогда ни словом не вспоминали об этом.

Женщина в его доме

Он хотел бы видеть её чаще — каждая встреча наполняет его даже не радостью, а каким-то торжеством — выходя от неё, он чувствует себя другим человеком, господи, бывают же такие женщины, кто бы рассказал об этом раньше, столько времени потеряно зря, не мальчик уже, казалось — всё видел, всё попробовал, женат второй раз, и ведь никакой горечи, никакого сожаления — пускай раз в месяц, не чаще, чёт с ним, просто знать, что она

где-то ходит, дышит, закрыть за собой дверь и сразу же, немедленно, представить, как она идёт от входной двери обратно, в глубь просторной, полупустой квартиры, — её так и не удалось убедить добавить мебели, только самое необходимое, не надо мне никаких шкафов, люблю пустые белые стены — босиком, длинные, узкие ступни на прохладной плитке, улыбается чему-то своему, садится у окна, закуривает сигарету — он уверен, она смотрит ему вслед — ну хорошо, может быть, не вслед, может быть, просто смотрит в окно, иногда ему кажется, если бы не этот эркер, возможно, ничего бы этого не было, смешно, поймать счастье на вид из окна, она уж точно могла бы найти что-нибудь лучше, шикарнее, а увидела окно — и осталась, кто бы мог подумать, ему всегда казалось — это так непрактично, столько стекла, вечно оттуда дует, а ей нравится, сидит на подоконнике, прислонившись лбом к стеклу, выпускает горьковатый дым — она часто так делает, даже когда он рядом, — смотрит в окно, курит, и он чувствует на себе этот взгляд, пока идёт к машине, и даже походка его меняется.

Этого тёплого чувства, этой наполненности хватает ему на неделю-полторы, а потом ему хочется хотя бы позвонить ей — услышать медленный, ленивый голос в телефонной трубке, говорить о чём угодно — просто чтобы заставить этот голос звучать подольше, представлять, чем она занята, от чего он её отвлек — она сидит на этой своей большой кровати, зажав трубку между плечом и ухом, наклонив голову, оливковые тонкие пальцы ног на белом покрывале, и неспешно наносит лак цвета спелых томатов — но он никогда не звонит ей, звонки между встречами не приняты, как и эти разговоры ни о чём, он боится показаться стареющим сентиментальным дураком, ведь не скажешь — нет, ничего не нужно, просто снег сегодня с утра падал густыми хлопьями, стало холодно и захотелось убедиться, что всё по-прежнему, ничего не изменилось, и мы увидимся через пару недель.

Ещё через неделю этот голод, эта пустота становится все сильнее, он начинает считать дни, смотрит на календарь, наспех глотает свою обычную, повседневную жизнь, работа, взрослеющие дети, встречи с друзьями, в общем, он всем доволен, всё благополучно, он состоялся, ни о чём не жалеет, вот только за неделю до встречи он начинает готовиться и предвкушать, и волнуется, и даже, чёрт возьми, думает, что надеть, — приехать с работы, не снимая костюма, галстук, рубашка с жестким воротничком, жена всегда говорит, что он хорош в джинсах, уже тысячу лет ему всё равно, как он выглядит, как мальчишка, честное слово.

Он звонит ей только однажды — подтвердить встречу, и всякий раз почти ожидает, почти готов услышать отказ, хотя имеет право на эту встречу, всего одну, ведь он не жаден, он терпеливо ждал весь месяц, не спрашивал, чем она была занята всё это время, о чём она думала, с кем встречалась, на кого смотрела, он признаёт эту её отдельную от него жизнь, ему нужен всего лишь небольшой отрезок её времени, иногда больше, иногда меньше — временами ему кажется, она из вежливости терпит его присутствие, ждёт, пока он уедет, а порой он уверен, что она ему рада, он пытается определить, ждала ли она его, готовилась ли к его приезду по тому, как она одета, — и теряется, что значат эти босые ноги, небрежность или интимность, она открывает ему сонная, чуть встрепанная, а в другой раз подведённые глаза, духи, и нельзя спросить, вернулась ли она откуда-то только что, или это для него, и что именно адресовано ему — ленивая, нежная, босая или острая, чужая, собранная, к тому же, сам он не знает, что ему нравится больше, — обычная простудная припухлость на розовой верхней губе однажды лишила его сна на неделю — он набирает номер, слышит в трубке её неторопливый голос и задает один вопрос — я приеду завтра?

Она кладёт трубку, морщит нос и говорит — чёрт, завтра опять двадцать третье, скорее бы уже переехать, может быть, ты наконец приедешь пораньше с работы, я замучилась встречаться с ним сама, в конце концов, мы оба снимаем у него квартиру, вечно он сидит целый час, несёт всякую ерунду, он так на меня смотрит каждый раз, мне даже неудобно.

Обмен

Проснувшись, она открывает глаза и какое-то время лежит без движения, спокойно, наблюдая за солнечным лучом, пробивающимся сквозь лёгкую занавеску. Постель рядом с ней пуста — она чувствует это, не поворачивая головы, хотя он всегда спит беззвучно, и к утру они обязательно откатываются друг от друга, даже если засыпали, обнявшись. Он говорит, что это она, засыпая, осторожно высвобождается из объятий и отстраняется, — она не спорит, скорее всего, так и есть, — ей и правда так лучше спится.

С годами он постепенно привык не будить её по утрам, хотя, разбуженная, она всегда сонно и нежно улыбается ему и готова заняться любовью, если у него возникнет желание, а после босиком идёт вниз по лестнице провожать его к двери, подставляя тёплую щёку для поцелуя, — но взгляд её при этом рассеян, и, замешкавшись, надевая обувь и гремя ключами от машины он чувствует неловкость за её прерванный утренний сон, за нарушенную гармонию, и спешит отпустить её назад, в залитую солнцем спальню — и, пока он едет в город, покупает бумажный стаканчик кофе на заправке, стоит на железнодорожном переезде, ему приятно представлять себе, как она спит, по-детски подложив руку под щёку, тёплая и безмятежная.

Она любит спать допоздна — ей не жаль пропущенных утренних часов, которые всё равно было бы нечем занять, её день начинается в тот момент, когда он, закончив утренние совещания, раздумывает, успеет ли он съесть салат в кафе на углу, или отправить секретаршу за сэндвичами — и ему не нужно смотреть на часы, чтобы почувствовать, как она наливает себе кофе в старую кружку с отбитым краешком, садится на веранде с сигаретой и набирает его номер, чтобы пожелать ему доброго утра, иногда он достаёт телефон ещё до того, как раздаётся её звонок. После этого наступает время его звонков — иногда он ругает себя за то, что звонит так часто, бережно собирая поводы для каждого разговора, мини-новости, смешные эпизоды, уточняя планы на вечер, иногда задаётся вопросом — почему она звонит только раз, сразу после пробуждения, но она никогда не звучит потревоженно, и никогда — раздражённо, и берёт трубку после второго гудка, потому что всегда носит телефон с собой, перемещаясь по дому, чтобы он не беспокоился.

Пока его нет, её время течёт размеренно и спокойно, она сидит с остывшим кофе за ноутбуком и пишет или читает, иногда смотрит фильмы, которые бы ему не понравились, ей никогда не бывает скучно. Особенное удовольствие доставляет ей возможность провести день, ни разу не взглянув в зеркало; оставаясь одна, больше всего она любит носить старые рубашки, хранящие форму его плеч, и ходить босиком по тёплым паркетным доскам. Перед его приездом она переодевается, расчёсывает короткие блестящие волосы, подкрашивает глаза и долго стоит у зеркала. Войдя в дом, он с порога с удовольствием охватывает её взглядом — она по-прежнему кажется ему красивейшей из женщин, узкое лицо с большими глазами, — с возрастом чёткие прежде линии стали чуть мягче, в уголках глаз появились морщинки, но она всё так же стройна, так же чудесно пахнет, так же забавно морщит нос, когда смеётся, и волнует его совершенно так же, как в первые годы.

Если у него нет дел в городе, они проводят длинные вечера вместе — он разводит огонь, она смешивает напитки, они разговаривают обо всем, что случилось за день, — у нее всегда есть свои новости, даже если она никуда не выезжала, и она умеет так рассказать ему о том, что увидела из окна второго этажа, так пересказать телефонный разговор (тут он чувствует лёгкий укол возле сердца — кому-то же она звонит в течение дня), что ему начинает казаться, что день его, такой насыщенный, такой плотный, был пустым и неинтересным, и он пропускает события, по дороге домой казавшиеся ему стоящими упоминания, чтобы послушать её рассказы.

Иногда к ним приезжают друзья — редко, но чаще, чем ему хотелось бы, просто ей так нравится их рассаживать вокруг стола на веранде, кормить их, устраивать их на ночлег, управлять разговором, выбирать музыку, ей приятно быть дирижёром их настроения, вызывать их на откровенность, она любит потом, когда все улягутся спать, выпить последний стаканчик перед сном и, укладывая голову к нему на колени, лениво перебирать с ним впечатления, говорить «он как-то нервничает последнее время и резковат с ней, ты не

находишь?» и «надо бы её познакомить с тем симпатичным архитектором, который заезжал к тебе на прошлой неделе, мне кажется, он ей понравился бы, как ты думаешь?» Со временем они перестали делить их на её и его друзей, хотя в самом начале, без всякого нажима с её стороны, сами собой — хотя она неизменно была приветлива с ними — вдруг отпали сначала одни, потом другие, знавшие его ещё с тех времен, когда он был женат в первый раз, он даже не успел заметить, как это произошло. Он не жалеет об их потере — ему достаточно тех, кто остался, к тому же, говоря откровенно, и этих бывает слишком, больше всего он любит оставаться с ней вдвоём, когда не нужно ни с кем делить её, ему всегда недостаточно её общества, её внимания, и, пока у них в доме гости, он старается чаще прикасаться к ней.

Он давно перестал прятать это от неё — она знает, она слишком хорошо научилась его чувствовать и, хотя она пытается не отвлекаться от него всё время, пока он рядом, с готовностью прерывает разговоры, закрывает крышку компьютера, откладывает книгу, у него по-прежнему всякий раз сжимается сердце, стоит ей сделать паузу чуть длиннее, замереть на мгновение, задумавшись, с отсутствующим выражением лица, ему хотелось бы проникнуть в её мысли встать между её глазами и остальным миром, пометить своим присутствием всё, на что она смотрит, всё, что она слышит.



Проснувшись, она открывает глаза и какое-то время лежит без движения, спокойно, наблюдая за солнечным лучом, пробивающимся сквозь лёгкую занавеску. Постель рядом с ней пуста — она чувствует это, не поворачивая головы, хотя он всегда спит беззвучно, и к утру они обязательно откатываются друг от друга, даже если засыпали, обнявшись. Вчера приехали друзья — как обычно, легли уже под утро, можно было бы поспать подольше, но за окном слышны голоса — кто-то из гостей уже проснулся, нужно спуститься вниз, придумать какой-нибудь завтрак, не стоит перекладывать это на его плечи. Она подходит к окну спальни и с удовольствием смотрит на него сверху — по-прежнему красивый, разве что чуть погрузневший с годами, широкие плечи, густая грива волос без седины, ей всегда нравилась его непринуждённая, ленивая красота, о которой он, казалось, даже не подозревает, его способность хорошо выглядеть в любой одежде, его манера, улыбаясь, слегка прищуривать глаза, умение понижать вдруг голос так, что каждое слово как будто застревает у тебя внутри, вызывая дрожь. Со второго этажа невозможно разобрать, что он говорит, но женщина, с которой он разговаривает, уже сделала стойку — наклон головы, шея, грудь, руки, интонации, женщины всегда на него так реагируют, надо бы всё-таки познакомить её с тем архитектором, пока не поздно, думает она, ни к чему всё так осложнять — хотя, вполне возможно, уже действительно поздно.

Они вместе пятнадцать лет, десять из которых она знает, что он изменяет ей. Когда это случается, ещё на пороге, пока он снимает обувь и кладёт ключи, пока целует её, она с абсолютной точностью уже знает, что сегодня он был с женщиной. Ей не нужно проверять его телефон или пытаться уловить чужой запах в его волосах — он осторожен, — но это видно в его глазах, в том, как он проходит мимо неё в гардеробную, в том, как он снимает брюки, это отражается от его обнаженной кожи, пока они вместе принимают душ, это ощущается в его поцелуях и в том, как он любит её ночью, — он всегда особенно жаден с ней в постели в такие дни. У него часто случаются дела в городе вечером — а ей последнее время всё меньше хочется уезжать из дома, в котором ей так спокойно, в котором ей никогда не скучно, и потому она всегда легко соглашается, когда он говорит ей, что задержится, — она никогда не ложится спать до его приезда, погруженная в свои медленные, уютные дела, наслаждается временным внеурочным одиночеством, но она всегда очень рада его

возвращению и понимает, как скучала по нему, улыбаясь, слушая его рассказ о том, как прошёл вечер. Он уверен, главное — придумать какую-нибудь одну правдоподобную деталь, я не голоден, говорит он, мы перекусили с А., представляешь, официантка была с такой забавной короткой губой, как у кролика, — и показывает, и она смеётся. Не хочу пока спать, говорит он, посидим еще, хочешь, я разведу огонь, она ставит стакан на пол, опускается рядом с ним, обхватывая его руками покрепче, впитывая его тепло, и думает о том, что очень счастлива, и что совершенно неважно, где он был в этот вечер, потому что от этого ему всего лишь становится немного легче жить с ней.



Он чувствует её взгляд и оборачивается. Она отодвигает занавеску, распахивает окно, широко и нежно улыбается ему. Он поспешно направляется к дому, на лестнице перепрыгивая через две ступени, чтобы побыстрее обнять её и пожелать ей доброго утра.

Анна говорит

В день, когда мне предстоит тебя встретить, я выхожу из дома раньше обычного, чтобы можно было пройтись пешком по набережной; у меня встреча в высотном здании — я не люблю высотные здания и не люблю встречи, и обещаю себе придумать способ, как в будущем избежать и того, и другого. Войдя в лифт, я уже вижу тебя, но ещё не знаю, кто ты, и успеваю подумать, что не люблю ездить в лифте с незнакомыми людьми, что вообще не люблю лифтов — моя квартира на третьем этаже и я всегда хожу пешком, но в этом здании у меня встреча на двадцать седьмом, поэтому я нажимаю кнопку 27, готовясь провести несколько неловких минут в этом ограниченном пространстве, в котором не за что зацепиться взглядом, кроме другого человека, и старательно избегая смотреть в твою сторону.

Когда кабина вдруг дёргается и останавливается так резко, что у меня подгибаются колени и из рук выскальзывает портфель с бумагами, раздаётся длинный металлический лязг. Я представляю себе: стальной канат, на котором висит наша остановившаяся между этажами кабина, распадается на отдельные струны, как плохо заплетённая коса; одна из струн уже лопнула, издав тот самый зловеющий лязгающий звук, за ней, одна за другой, лопаются остальные, и кабина летит вниз, набирая скорость, чтобы с оглушительным грохотом удариться о нижние перекрытия и превратиться в груды искорёженного металла. Я вижу это настолько отчётливо, что могу представить себе позу, в которой буду лежать под рваными кусками железа, свои раздробленные кости и вкус крови во рту.

Я открываю глаза и вижу, что сижу в своей светлой юбке прямо на полу лифта, подогнув под себя ногу. Совсем близко я вижу твоё встревоженное лицо — ты сидишь на корточках возле меня, держишь меня за плечи и что-то говоришь, но звук пока ко мне не вернулся и я тебя не слышу; я не вижу крови и разрушений и делаю вывод, что мы пока не упали, — правда, почему-то я до сих пор не могу вдохнуть. Голос появляется словно издалека — ничего страшного, такое случается, мы просто застряли, я смотрю на твои губы и понимаю, что эти слова произносишь ты. Мне становится немного неловко, и я пытаюсь сказать — я ненавижу лифты и высотные здания, — но не уверена, что ты слышишь меня. У вас паническая атака, говоришь ты, попробуйте отвлечься и, главное, дышите, иначе мне придётся делать вам искусственное дыхание, а это не очень удобно, потому что мы незнакомы, давайте так — пока вы снова не отключились, я должен хотя бы назвать вам своё имя — и ты представляешься. Я пытаюсь произнести своё имя, но в этот момент жуткий лязгающий звук повторяется, и кабина рывком опускается ещё на метр или два — здоровый

смысл опять покидает меня, и когда я в очередной раз открываю глаза, я вижу — крупно — золотистые нитки, составляющие узор на твоём галстуке, немного думаю о том, что ты приятно пахнешь, теперь твой голос звучит иначе, потому что моя голова прижата к твоей грудной клетке, — знаете что, говоришь ты, по-моему, нам придётся тут посидеть какое-то время, у меня есть с собой неплохая книжка, но мне почему-то кажется, что для вас было бы полезнее поговорить о чём-нибудь, так что вот как мы поступим — вы рассказывайте, а я буду вас слушать — говорите о чём угодно, к примеру, расскажите мне о себе — кто вы такая, сколько вам лет, где живёте, что вы любите, чего не любите — ладно? Меня зовут Анна, быстро говорю я, чтобы опять не потерять сознание, и я не люблю лифты и высотные здания.

Я не люблю общественный транспорт — бессмысленное скопление чужих друг другу людей, вынужденных сидеть, соприкасаясь бедрами и локтями, смешиваясь запахами, пересекаясь взглядами, и поэтому от моего дома до работы всего пять кварталов пешком, а на случай, если понадобится попасть куда-то ещё, я купила машину — в центре её трудно парковать, но мне проще полчаса кружить вокруг нужного места в поисках парковки, чем спуститься в подземку и проехать две остановки.

Понимаю, говоришь ты, не останавливайтесь, я слушаю.

Я не люблю большие компании, в которых люди одновременно перекрикивают друг друга, и громкую музыку, которую никому не приходит в голову сделать потише, — иногда мне кажется, что её нарочно включают, чтобы паузы, которые может понадобиться заполнить словами, не возникали совсем, сквозь какофонию громких звуков можно успеть вставить только небольшую шутку, остроумное замечание или короткую сплетню, иногда люди вообще не успевают расслышать друг друга, но не переспрашивают — чтобы казаться вежливыми, они просто делают приветливые лица и кивают или смеются, если им показалось, что не расслышанные ими слова должны были быть смешны, — на самом деле, им всё равно не интересно, чего именно они не расслышали; я не люблю терять время.

Ты говоришь — мне кажется, нам не помешало бы немного позитива, может, расскажете, что вы любите?

Я люблю свою жизнь — неискренних и лишних людей я давно сбросила, а те, кто остался, знают меня так хорошо, что мне одинаково легко молчать и разговаривать с ними, за годы я и мои друзья научились не требовать друг от друга больше, чем было бы разумно, не вмешиваться в жизнь друг друга, не давать бестактных советов и делать перерывы между встречами, достаточные для того, чтобы не уставать от общения; я люблю свой дом — трёхметровые потолки, широкие подоконники, скрипучий паркет — одно время все настойчиво советовали мне продать, обменять, переехать, кому нужен этот центр города, ни с коляской погулять, ни собаку вывести, зачем вам двоим столько комнат, и я отмахивалась, пока они не отстали, — у меня нет собаки, дети вырастают, а для счастья не нужно много денег, нужен просто дом, к которому ты привыкла и в котором тебе хорошо.

Я люблю свои платья, свои кольца и духи — женщина состоит из сложных мелочей, цветов и ароматов, до тридцати мне достаточно было подкрасить глаза и губы, теперь красота составляется из множества мелких штрихов и деталей, но каждый — на месте, к тому же, теперь я знаю все правила — всё, что раньше казалось мне непостижимым и трудным, вдруг разложилось, как пасьянс, — я знаю, что нужно говорить, как нужно молчать, когда улыбнуться, моё выражение лица и голос повинуются мне беспрекословно. В тридцать девять мне не дать и тридцати пяти. От мамы мне достались тонкие щиколотки и запястья, благодаря которым я выгляжу стройной, даже если позволю себе несколько вечеров подряд плотный ужин — мне нравится есть, и — даже если некому — я люблю готовить, включить музыку погромче, зажечь сигарету во рту, налить бокал вина и приготовить что-нибудь сложное, мне не нравятся рецепты, рассчитанные на четверть часа, я люблю замысловатые блюда готовить которые — как рисовать картину, это почти танец — растереть в пальцах пахучие специи, что-нибудь мелко нарезать, отхлебнуть из

бокала, попробовать соус, зажечь новую сигарету — правда, когда всё готово, у меня нередко пропадает аппетит, а Анюта редко ест дома — её почти никогда нет вечерами, — и я закатываю еду в целлофан и ставлю в холодильник, где она вянет до тех пор, пока её уже не жаль выбросить. Я не люблю есть сама всё, что готовлю, — иначе меня не спасут даже мои запястья и щиколотки.

Анюта, это кто, спрашиваешь ты. Анюта, отвечаю я, это моя дочь.

Наверное, мне уже сложнее выглядеть свежей по утрам — например, я давно знаю, что четвёртый виски, выпитый накануне, уберёт блеск из моих глаз и кожи на весь следующий день до самого вечера; правда, это не страшно, потому что янтарная искристая односолодовая линза, сквозь которую виден только безопасный кусочек жизни, как раз к четвёртой порции мутнеет и делает мысли тяжёлыми. Впрочем, я могу себе позволить нарушить и это правило — мне не нужно выглядеть свежей по утрам, я просыпаюсь одна. Мне неудобно просыпаться в чужой постели, я не люблю смотреться в чужое зеркало в ванной, надевать вчерашнее платье — мне нужны моя спальня, моя утренняя чашка кофе в тишине, мои мягкие полотенца; все было проще, пока Анюта была маленькой, — после того, как она ложилась спать, мне достаточно было просто закрыть дверь в детскую, чтобы получить дом в свое полное распоряжение, и за час до её пробуждения никого уже не было, только я и она, а теперь она поздно ложится и среди ночи, хлопая дверьми, может проилептать в ванную босиком, в мятой футболке, так что, когда мне нужен мужчина, мне проще уехать из дома и вернуться поздно — это совсем не трудно, найти себе любовника, который не стремится знакомиться с твоей дочерью и остаться у тебя ночевать, мне нравятся мои мужчины, они такие удобные.

Ого, говоришь ты, наверное, чтобы просто что-нибудь сказать, вероятно, ты немного растерян — кто бы мог подумать, что незнакомая женщина в лифте станет говорить с тобой о своих любовниках, но меня уже не остановить, и потом — я не вижу твоего лица — я по-прежнему смотрю на твой галстук.

Я люблю свою работу — когда-то она стоила мне нервов и усилий, но теперь, спустя много лет, в ней почти не осталось неприятных сюрпризов, неразрешимых проблем, сложных задач — я точно знаю, с чего начнётся мой день и чем он закончится, всё, что мне приходится делать, я делала многие тысячи раз, и теперь мои ежедневные дела занимают всё меньше времени, я могу работать и одновременно думать о чём-то другом. Кроме того, у меня отдельный кабинет с маленькой кофе-машиной и пепельницей на столе, специально для меня в кабинете отключили датчики дыма, и мне не нужно больше выходить и слушать чужие разговоры в курилке, девочки из секретариата зовут меня Анна Сергеевна, и мне не обязательно теперь объяснять, почему я не хочу ходить на обед с кем-то из коллег, — иногда я не обедаю совсем, а иногда, под настроение, я выбираю какое-нибудь из множества рассыпанных по нашей улице маленьких кафе, в котором съедаю салат или суп, листая книгу. На нашей улице очень много офисных зданий, но ко мне за столик никогда не подсаживают чужих людей, даже когда кафе переполнено. Мне не обязательно торопиться с обедом — я могу задержаться и вернуться на час позже — никому не придёт в голову делать мне замечаний.

Хорошо бы вам ещё выбить себе право не ездить на встречи в высотные здания, раз вы так боитесь лифтов, говоришь, ты — ну простите, простите, я зря это сказал, я перебил вас, продолжайте.

Да, я не люблю высотные здания и ненавижу лифты, и обязательно придумаю, как избегать их в будущем. Жизнь становится намного проще, когда понимаешь, что именно доставляет тебе удовольствие, а что — нет, когда ты можешь разложить мир на две части — это я люблю, а это — не люблю, и отодвинуть вторую часть как можно дальше; мне понадобилось довольно много времени на то, чтобы понять эту простую вещь, но теперь я научилась никогда не заставлять себя делать то, чего не люблю, — даже когда мне кажется, что окружающий мир ждёт этого от меня. К моему удивлению, мир принимает все мои решения невероятно легко и совсем не сопротивляется. Есть только

одна вещь, с которой я совершенно не знаю, как поступить, — последнее время мне кажется, что я больше не люблю свою дочь.

Я делаю паузу — но ты ничего не говоришь. Возможно, ты шокирован и раздумываешь над тем, как бы повежливее оттолкнуть меня, которая не любит свою дочь, от своего галстука. Может быть, ты не видишь в этом ничего плохого — предположим, у тебя тоже есть дочь и ты тоже её не любишь. А может, у тебя вовсе нет детей. Так или иначе, мне кажется неправильным оставить эту фразу без объяснения, и я продолжаю.

Боюсь, я не заметила, когда точно это произошло, в моей памяти нет водораздела — я не могу сказать себе — в её пятнадцатый день рождения я ещё любила её, а в шестнадцатый — уже нет, мне проще вспоминать фрагменты — я люблю её, когда ей два с половиной, и ночью она просыпается от плохого сна и босиком приходит ко мне в спальню, стоит на пороге, тихо всхлипывая, пока я не проснусь, я приподнимаю край одеяла, она с облегчением прячется под ним, я вдыхаю сладкий густой запах её волос, сжимаю в ладони обе её замерзшие пятки, мы засыпаем; люблю её, когда ей шесть, я наполняю ей пенную ванну, и она играет в ней, пока не остынет вода, — я оставляю дверь приоткрытой и каждые несколько минут заглядываю, даже если слышу её негромкую болтовню, она любит делать себе корону из мыльной пены, она похожа на мокрый персик, тёмные волосы мокрыми колечками лежат на лбу и на щеках, потом я вытираю её, заворачивая в большое жёлтое полотенце с капюшоном, она гладкая и блестящая, как пластмассовая куколка, и зажимается, когда я вытираю ей голову; люблю её, когда ей одиннадцать, она стоит перед зеркалом в моей спальне, я неожиданно вхожу, она отпрыгивает, скрестив руки на груди, и краснеет до корней волос — после длинного осторожного разговора я выясняю, что у нее начала расти грудь, один смешной розовый холмик пока больше другого, и она боится, что это некрасиво, что все будут смеяться, а потом мы примеряем с ней моё тёмно-синее шелковое платье, на которое она наступает, красим у зеркала губы, укладываем волосы; у меня много воспоминаний, которые я могу листать бесконечно, как альбом с фотографиями, у меня много доказательств моей любви.

Я не помню, в какой именно момент я замечаю, что моя сладкая девочка превращается в незнакомое, колючее существо, которое называет меня «Ма», хлопает дверью, швыряет вещи на пол, которое красит голову в ненатуральный чёрный цвет и оставляет спутанные пересушенные волосы на моей расчёске в ванной (а если я что-то не люблю, так это чужие волосы на моей расчёске), у которого плохая кожа с россыпью маленьких прыщиков на подбородке, от которого пахнет совсем не забывками — входя к ней в комнату, я сразу же открываю окно, которое немедленно снова оказывается закрыто; она неестественно громко смеется в телефонную трубку так, что мне слышно даже сквозь закрытые двери, она носит стоптанные кеды, бесформенные трикотажные балахоны, засаленные кожаные шнурки на шее и ужасную пыльную холщовую сумку до колен; иногда, когда она позволяет обнять её, или когда мы, как раньше, вдруг смеёмся с ней над какой-нибудь глупостью, на какое-то мгновение я опять чувствую свою любовь, но в остальное время я не узнаю её лица, её голоса, её запаха, затаившись, я замираю в ожидании момента, когда она вернётся ко мне, но когда эта пугающая меня, чужая оболочка слетает с неё, как треснувшая скорлупа, на свет появляется незнакомая отстранённая молодая женщина, с которой мы неловко сталкиваемся каждый день под одной крышей, и мне начинает казаться, что я просто забыла момент, когда мою девочку забрали у меня и куда-то увезли, потому что её нет — нет нигде вокруг, кроме моей памяти, моих альбомов с фотографиями.

Знаете, это самый странный разговор, который у меня был в жизни, говоришь ты — я тебе верю, потому что я и сама никогда не веду таких разговоров, тут снаружи раздаётся какой-то шум, и я даже не успеваю испугаться (ты действительно отвлек меня), как кабина приходит в движение, а потом двери открываются на одном из ближайших этажей, и мне приходится оторвать взгляд от твоего галстука (мне кажется, тебе стоило бы подарить мне этот галстук, — в любой из последующих дней, закрывая глаза, я смогла бы представить

рисунок, который был на нём, в мельчайших подробностях) и взглянуть в лица людей, стоящих снаружи, на глазах у которых мы сидим на полу, обнявшись, среди разбросанных бумаг, выпавших из моего портфеля. Нам обоим кажется глупым закончить разговор именно в этом месте — ведь если предположить, что мы до сих пор сидим на полу лифта, он бы ещё продолжался — к тому же нам обоим хочется выпить, несмотря на то, что нет ещё и полудня; мы стоим возле лифта (портфель с собранными бумагами уже опять у меня в руке) и решаем, что тебе нужно отвезти меня домой — я живу недалеко и пришла сюда пешком, — чтобы убедиться, что я в порядке; мы одновременно вынимаем телефонные трубки и что-то объясняем людям на другом конце провода после чего направляемся к выходу и находим твою машину на парковке. Сидя на пассажирском сиденье, я недоумеваю, отчего мы не двигаемся с места, но ты ждёшь, пока я назову тебе адрес, и я почему-то удивлена, что ты его не знаешь.

К моменту, когда Аня вернётся домой, я успею выпить намного больше четырех порций виски (впрочем, и ты тоже), какое-то время мне будет казаться неестественным сидеть на расстоянии от тебя и видеть твоё лицо, пока я рассказываю, — я буду скучать по твоему галстуку, с которым знакома гораздо лучше, чем с тобой, и спустя несколько историй я предложу тебе сесть поближе, а ты с восторгом согласишься (в этот момент я подумаю о том, что, возможно, завтра как раз тот самый день, когда мне хотелось бы выглядеть свежей утром, какая жалость, что четвёртая порция виски давно позади). К этому времени мы уже будем на «ты», и я расскажу тебе почти всё, что помню о себе, — а о тебе не буду знать даже, женат ли ты (ты не женат).

Аня выберет именно этот день для того, чтобы вернуться домой пораньше, и если она удивится тому, что видит на кухне нас троих — меня, тебя и твой галстук, к которому я всё-таки стараюсь держаться поближе, — то этого не покажет; мы воспользуемся её приходом для того, чтобы торжественно извлечь из холодильника накрытый целлофаном воскресный обед, который в воскресенье никого не заинтересовал, и немного поужинать; как ни странно, для нас с Аней это будет первый семейный ужин за последний год. За едой мы с тобой, перебивая друг друга, расскажем ей об утренней лифтовой катастрофе, и в результате этого рассказа и этого ужина ни у кого — даже у меня — не возникнет сомнений в том, что тебе необходимо остаться у нас ночевать.

Она ужасно на тебя похожа, скажешь ты, когда она выйдет из кухни, пожелав нам спокойной ночи. На какое-то мгновение я не найдусь с ответом и мысленно представлю себе её маленькое хмурое личико со слипшимися от туши ресницами — она не смывает тушь перед сном и поэтому по утрам выглядит как худенькая не улыбающаяся панда — на некоторых её детских фотографиях я действительно узнаю свои глаза и брови, свой подбородок, но если мы с ней и похожи сейчас, я этого не замечаю, — а после предложу тебе, наконец, рассказать что-нибудь о себе — должна же я узнать хоть что-то о человеке, с которым собираюсь лечь в постель. Вероятно, ты тоже думаешь о постели, поэтому твой рассказ будет короче моего, — слушая тебя, я отмечу про себя факт, что ты моложе меня на шесть лет, и с тревогой подумаю о том, что, кажется, это впервые меня беспокоит.

Всякому, кто считает, что секс на первом свидании редко бывает удачным, я порекомендовала бы заглянуть к нам в спальню в эту ночь — с другой стороны, наверное, это было бы неуместно. Утром мы попробуем ещё раз — просто чтобы убедиться в том, что ночная удача не случайна, — и ты обрадуешь меня тем, что запомнил мой вчерашний рассказ в лифте — то место, где я говорила, что люблю просыпаться у себя дома, а я удивлюсь тому, что мысль оставить мужчину ночевать у себя ни разу до этой ночи не пришла мне в голову. В этот день мы оба опоздаем на работу, но ехать всё равно придётся — второй пропуск подряд не смогу себе позволить даже я с моим свободным графиком; с утра нам будет неловко обмениваться телефонами или, что было бы ещё хуже, визитными карточками — этим стоило заняться накануне, но мы это упустили, — и к концу дня я почти привыкну к мысли, что чудесный эпизод моего спасения из лифта позади, и даже

найду в нём некоторую логическую законченность, но вечером ты придёшь безо всяких звонков и останешься на ночь, и будешь приходить ещё и ещё.

Очень скоро — надеюсь, я не одна, кого удивляет, насколько скоро это всегда происходит, — ты станешь единственным (когда-то этим человеком была Анюта — не теперь, нет), кого я не смогу разделить на две части — люблю, не люблю, кто целиком — со всеми своими привычками, интонациями и словечками — поместится в одну половинку мира, который я так удачно разделила для себя. Ты будешь оставлять на моём зеркале в ванной брызги от пены для бритья, опаздывать к ужину, ты обязательно разобьёшь мою любимую чашку или ещё какую-нибудь безделушку, к которой я очень привязана, мои платья будут вечно соскальзывать с вешалок — и ты не станешь поднимать их — когда по утрам будешь доставать из шкафа свои рубашки, и, несмотря на всё это, я буду неприлично сильно любить тебя всего целиком, без условий. Мне будет очень легко проверить, люблю ли я тебя по-настоящему — я никогда не могла заставить себя откусывать с кем-то от одного яблока и даже в детстве всегда переворачивала его к себе нетронутой стороной, — надо попробовать это с Анютой мы очень давно не ели с ней одно яблоко на двоих — от твоего яблока я смогу откусить в любом месте, я даже с удовольствием съем огрызок.

Анюта станет чаще приходить домой пораньше, вылезать из своей берлоги, готовить с нами ужин — окажется, что идея с танцами вокруг еды ей тоже близка, просто танцевать со мной ей было не так интересно. Мы проведём бесчисленное множество вечеров втроём — сугробы, которые нанесло в последнее время в моём доме, с твоим появлением растают, и я снова увижу, какая она красивая, когда улыбается, как идут ей платья, в твой день рождения мы вместе пойдем ужинать — и я, как раньше, уложу ей волосы, и, стоя возле зеркала за её спиной, я наконец узнаю своё лицо — только на двадцать лет моложе — потому что у нас с ней будет одинаковое выражение глаз.

А потом я вернусь пораньше домой, или случайно войду в комнату, или просто отведу вдруг взгляд от экрана, когда мы будем втроём, лежа на ковре, смотреть телевизор — или нет, так было бы слишком банально. Давай, я лучше представлю, что ничего не произойдёт — совершенно ничего, просто я пойму, наконец, в чем причина её улыбок, её звонкого голоса, её ранних возвращений и новых платьев, и тогда я скажу тебе — это будет очень глупо, но, видимо, я скажу всё равно, потому что всем нам свойственно иногда произносить вслух вещи, которые не стоило бы озвучивать, — в общем, я скажу тебе, что мне сложно посчитать, какая цифра ближе к тридцати трем — тридцать девять или девятнадцать, и я не могу больше ждать, пока это посчитает кто-нибудь из вас. Думаю, ты на это скажешь мне, что единственный день, когда я была с тобой по-настоящему откровенна, — это день, когда мы застряли в лифте, — я подумаю, ну конечно, глупый, ведь я тогда тебя ещё не любила, разве ты не знаешь, что это смертельно опасно — быть откровенным с тем, кого любишь, — вот я попробовала только что, и ты сейчас увидишь, что из этого выйдет. Потом ты скажешь — обязательно — что любовь для меня — слишком сильное чувство, и посоветуешь добавить её в список вещей, которые я стараюсь отодвинуть от себя подальше, вместе с лифтами и высотными зданиями, — и я подумаю, она давно уже там, мой милый, она была там задолго до того, как я тебя встретила. А после этого ты уйдёшь — от нас обеих.

Если мы в чем-то и похожи с моей дочерью, так это в том, что нам обоим наверняка понравилась ты — и я бы очень хотела, чтобы ты это понял — как бы ни развернулась эта история, чем бы она ни закончилась, я её потеряю. Моя девочка, возвращения которой я жду так давно, никогда ко мне не вернётся. Понимаешь, я очень, очень скучаю без неё.

Поэтому, сидя в машине на пассажирском сиденье, в то время, когда ты ждёшь, пока я назову тебе адрес, я говорю тебе — знаете, я передумала, пожалуй, я вполне в состоянии дойти до дома пешком, спасибо за помощь — без вас я бы точно сошла с ума в этом лифте. Ты удивлён и как будто даже расстроен — наверное, какая-то часть из того, что я себе представляю, всегда просачивается наружу, и ты тоже увидел одну или две из моих картинок — интересно, какие именно, — и с сожалением открываешь мне дверь — вы уверены, вы

точно не хотите, чтобы я вас подвёз, знаете, я подумал, мы могли бы просто выпить где-нибудь, всё-таки не каждый день удаётся избежать неминуемой гибели, и тогда я решительно качаю головой, улыбаюсь тебе и быстро иду прочь, чтобы не передумать.

Я говорила тебе, пока мы с тобой сидели на полу лифта и ты прижимал мою голову к своему галстуку, — жаль, что мне нельзя забрать его с собой на память — я не люблю терять время.

Глория Му

Ясно

А утром Яндекс сказал мне: +7. Ясно?

— Да ясно, ясно, — покладисто проворчала я, и они выпустили солнце.

А ближе к полудню позвонил Серёня:

— Ты праздника хотела? Собирайся. У Рафа день рождения. Мы приглашены. — И, терпеливо выслушав все мои «мненечегонадеть», «мненечегоподарить», «янемогупошевелиться», добавил: — Через два часа заеду. Подарить можешь фейерверк, Раф склонен к вульгарным развлечениям.

Через два часа Серёня увозил меня и ящик пиротехники за город в голубом вертолёте (ну, ладно, ладно — в синем «рено»).

Свернувшись на переднем сиденье, я думала о Луи Рено, сыне галантерейщика, бесстрашном гонщике, практичном мечтателе, который изобрёл самый добропорядочный, самый буржуазный автомобиль на свете. И о Сарёне, которому, как никому другому, подходил этот автомобиль

Какое счастье, думала я, что моя мама не знакома с Серёней! Если бы она только его увидела, хотя бы вот одним глазком, — всё, тут бы и наступил конец нашей безмятежной жизни. Мама бы костями легла, чтобы нас поженить. Серёня был идеальным мужчиной (с маминой точки зрения, конечно) — высокий, не сказать, чтобы красивый, но приятный. Он был похож на молодого ученого из советских послевоенных фильмов — узколицый, бледный, с близко посаженными тёмными глазами и карей чёлкой, косо падающей на чистый, высоким лоб.

Серёня безукоризненно одевался. Серёня был вежлив и начисто лишен чувства юмора. Серёня служил каким-то важным клерком в одном из солидных московских банков. В общем — сама респектабельность в серёненном лице осеняла мою бестолковую жизнь серым крылом.

Бедная моя мама ела бы мой мозг десертной ложкой, отплясывала бы цыганочку на моих белых костях, била бы в моё смелое сердце, как в тамбурин, и неустанно бы напевала — какой мужчина! Какой мужчина! Редкий изумруд! Положительный и серьёзный! Ату его, ату!

И даже то, что Серёня — гей махровый, её бы на остановило. У каждого свои недостатки, философски заметила бы мама, только и всего.

— Что у тебя со спиной? — спросил Серёня, мельком взглянув на меня и снова уставившись на дорогу. — Опять таскала тяжести?

— Сорвала на трюке, — равнодушно ответила я, достала сигареты, но, вспомнив, что Серёня не переносит табачного дыма, с досады бросила пачку на торпеду.

— Да кури ужа, горе ты моё, только окно открой.

Я закурила, а Серёня, плавно обойдя на повороте толстозадый «лексус», затянул свою любимую:

— Гло, что ты себе думаешь? Тебе уже за тридцать, у тебя две вышки, а занимаешься чёрт знает чем. И живёшь черт знает с кем, И выгладишь чёрт знает как. Пора остепениться, подумать о будущем... А ты? О чем ты думаешь, вообще, я не понимаю...

— Я думаю об эльфьих подменышах, кота.

— Что?!

— Мы ведь с тобой почти ровесники. Дав надели разницы. А моя бедная мама всю жизнь плакала, что ей меня подменили в роддоме. И теперь а знаю, что она права, знаю, кого она должна была получить вместо меня в белом конверте с кружевами.

— Кого? — удивлённо спросил Серёня.

— Тебя! страшным басом прорычала я, — потому что этот текст «... что ты себе думаешь...» я слышу от неё лет двадцать. Это гены, Серёня, точно тебе говорю. Добрый час, счастливая минутка! Королевский детёныш нашёлся!

— А, ты шутишь, — «королевский детёныш» с облегчением вздохнул, — какая ты все-таки, Гло... Редкая. Напугала, уф.

— Серёня, — вкрадчиво спросила я, — как же ты так? Ты что, совсем шуток не понимаешь? Даже интонации не чувствуешь? Вот все хохочут, а ты просто терпишь, да?

— Ну да, — ответил он, сворачивая к какому-то пафосному подмосковному поселку. — Когда я был помоложе, то смеялся вместе со всеми, чтобы не отрываться от коллектива, а потом даже пошёл дальше и стал смеяться, когда слышал какую-нибудь нелепость. Шутка — это ведь нелепость, так?

— Ну примерно. И что?

— Не поверишь, — грустно сказал Серёня, — какие нелепости, оказывается, говорят люди совершенно серьёзно.

Я расхохоталась.

— С тобой всё ясно. — Серёня, по-старушечьи покачивая головой, остановил машину у глухого железного забора и посигналил.

Сим-сим открылся — тяжёлые ворота отъехали в сторону, и «рено» двинулся по неширокой, мощённой плиткой дороге сквозь бессовестно голый, пронизанный солнцем сад к дому.

Я восхищённо уставилась в окно.

Нет, дом был самым обычным — типовой двухэтажный коттедж, безликий, аккуратный, с большой верандой, но сад, сад поразил меня.

Огромный, явно очень старый, с беспорядочно пылающими там и сям кострами хризантем, он казался живым и вольным лесом, невесть как оказавшимся в железном кольце двухметровых заборов, асфальтированных дорог, чистеньких домиков.

Большие, как в детстве, деревья тянули друг к другу и к небу массивные корявые ветки, смыкаясь в причудливые гаудианские арки, прозрачный, невесомый храмовый свод; я выглядывала из машины, как Золушка из тыквы, и всё не могла наглядеться на ломкую, беззащитную красоту осенних ветвей, осенних цветов, осенних листьев, догорающих алым и золотым.

Хозяин дома, лысый, длинномордый и кадыкастый, мне понравился.

— Раф. Гло, — произнёс Серёня заклинание, и мы с Рафом рассмеялись.

На нём была чёрная галабея, края широких рукавов которой украшала изящная вышивка чёрной же нитью. Высокий, тощий, он наверняка выглядел бы значительным и строгим, но, увы, галабея была женского кроя, а на шее Рафа красовалось разухабистое боа фиолетового пера.

Перья, торчащие во все стороны вокруг длинной шеи, делали его похожим на редкую птицу марабу, и я улыбнулась — мне всегда были симпатичны люди, не боящиеся выглядеть смешными.

— Показывай свою Золушку, — сказал он Серёне, а меня явно собрался трогать руками. Я вежливо увернулась, Серёня же, проходя в дом, ответил:

— Это не Золушка, это девочка в красных башмачках. У неё всегда неприятности, поверь мне.

— Девочка со спичками, — сказала я. — Раф, мы привезли вам кучу огненных игрушек, вечером можно будет устроить в саду маленький фейерверк, если позволите,

конечно.

— Фейерверк! — по-детски обрадовался Раф, и глаза его, серые, ясные, заискрились смехом. — Позволю ли я? Да я требую, слышите, требую устроить фейерверк! Ах, какой подарок, хорошая моя, ах, как вы угодили старику! Полвека — шутка ли, это надо отметить как следует! Я требую фейерверка в свою честь!

Раф всё-таки ухватил меня под руку и повёл гулять по дому, пока Серёня, гостивший здесь не в первый раз, ускользнул наверх принять душ (Серёня отличался параноидальной чистоплотностью и менял рубашки по три раза на дню).

Мы прошли через небольшую гостиную, где явно шла подготовка к празднику — дубовые полы натерты, столы сдвинуты и покрыты мягкими белыми скатертями.

Большое, во всю стену, окно было распахнуто, и ветерок шнырял по комнате невидимой кошкой, тёрся по ногам, играл с занавесками.

— У вас прекрасный сад, — сказала я Рафу.

— О да. Пошли мне сад на старость лет...

— За этот ад?

— За этот бред. Домок на окраине, лицом, крыльцом в овраг... — Он легко рассмеялся. — Из-за сада-то и купил участок. Лет ему, уж всяко, поболее, чем мне, а эти варвары, вы только представьте, собирались повыкорчевать, погубить стариканов.

Обещали устроить здесь, как они выразились, модный ландшафтный дизайн. — Раф посмотрел на меня, выжидательно подняв брови, приглашая возмутиться вместе с ним варварством неведомых «их», но я только улыбнулась, обогнула стол, вышла из окна (или стеклянной двери?) прямо на веранду и стояла там, подставив лицо небу, жадно втягивая носом солнечный, осенний дух — прелой земли, тлена, горького цветочного ветра.

К дикому ветру, несущему запах засыпающего сада, погибающих цветов и стылых луж, примешался вдруг тихий, домашний — откуда-то сбоку потянуло бисквитами, а ещё чем-то пряным — загадочным, но вполне мирным.

— Кто-то печёт бисквиты? — обернулась я к Рафу.

— Это Бальтасар. Пойдемте. — Раф поманил меня обратно, я вернулась в дом, и через неприметную дверь у камина мы прошли на кухню.

Мне почему-то казалось, что кухня должна располагаться где-нибудь в подвале, но она примыкала прямо к гостиной — светлая и полная чудес.

Там был большой разделочный стол с мраморной столешницей, печь с медным вытяжным колпаком, по стенам, как самурайские мечи, были развешены ножи, шумовки, вертела, сковородки, какие-то не опознанные мною металлические штуки.

Хрупкий большеглазый повар-филиппинец повернул голову, когда мы вошли, кивнул и снова вернулся к своим делам — все конфорки были уставлены кастрюльками, в которых бурлило и булькало, а от духовки шёл упоительный запах свежих бисквитов.

Я немедленно полезла к повару с вопросами, а носом — в его кастрюльки. Ничего хорошего не вышло, он только горестно застыл воспитанной курицей, у которой разоряют гнездо, пришлось отстать.

— А вы умеете жить, Ниро, — сказала я Рафу.

— Не умею. Но люблю, — ответил он мне, а повару мягко сказал что-то на испанском, настолько маленьком и плохом, что даже я умудрилась опознать одну старую поговорку.

Буркнув в сторону Рафа «chorizo», я, не дожидаясь его, рванула прочь из кухни.

Раф догнал меня у тяжёлой двери светлого дерева, ведущей неизвестно куда.

— Я же не знал, что вы говорите по-испански, — сказал он виновато, но глаза его смеялись.

— Росо-росито. Но вы-то, вы хороши! Да вы ведь сами привели меня туда, лицемерная лысая мартышка! Лисица на экскурсии в курятнике! Курица, глупая курица на экскурсии в лисятнике — вот что вы должны были сказать вашему волхву.

— А вас легко рассердить, — с удовольствием констатировал Раф, распахивая передо мной двери — как оказалось, в библиотеку.

И тут впервые в жизни я испытала приступ настоящей зависти. Оказалось, что это очень противно — как будто тебя быют под дых на вдохе, и воздух кончается, и на глаза наворачиваются злые слезы.

Мне захотелось залечь вот прямо здесь, на тёплом полу, и утяжелиться, как это делают кошки, чтобы не смогли поднять и унести, чтобы остаться тут насовсем, бесполезным зверьком шарить по полкам, спать в креслах, а кресел было много, по-глупому разных, это выглядело почти нелепо.

— Не смогли выбрать? — спросила я.

— Не захотел.

Я шла вдоль стен-стеллажей, разглядывая корешки книг, проводя рукой по тем, до которых могла дотянуться, и тут появились они.

Сначала одна плоская змеиная головёнка поднялась из кресла, за ней — ещё две, и вот уже волна разномастных кошек хлынула отовсюду. Длинномордые, как их хозяин, грациозные, страшно ушастые, они появлялись ниоткуда, словно призраки, и всё это блеяло как стадо обезумевших коз:

— Мэээ! Мэээ! Мнэээ! Мыр-мыр-мыр! Мэ- ээ! Муэ! Ай-нэ-нэ! Уэээ! Муээээ!

— Кошки! Кошки! Какая роскошь! — воскликнула я.

Раф нагнулся, набрал полные руки кошек и стал поочерёдно целовать их в макушки. Зверьки жмурились, смешно растопырявая уши, кто-то вырывался и сбегал, кто-то карабкался ему на плечи, кто-то смирно висел, не делая попытки удрать.

— Какие! Да сколько! — не могла нарадоваться я и, подхватив одну, пеструю, на руки, прижала к себе, но кошка стекла сквозь пальцы как вода, затанцевала рядом, задрав хвост, мимолётно, словно невзначай касаясь подола моей юбки.

Откуда они? Откуда столько? — спросила я, подбирая юбку и опускаясь на колени, чтобы погладить кого поймаю.

— Купил, — пожал плечами Раф, наглаживая крупную, чёрную с теплым коричневым отливом кошку, похожую на ожившую картинку из бестиария, — змеиная голова, уши нетопыря, подбородок льва, глаза химеры. — Случайно зашёл на какую-то кошачью выставку, влюбился и купил. Как султан — жену. Одной показалось мало. Теперь, как видите, у меня целый гарем. — Он снова смачно поцеловал зверька в макушку. Кошка извернулась, обхватила его руку передними лапами и прикусила пальцы. — Кошки — сплошная нежность, нежность и лень...

— Какая же лень? — удивилась я, указывая на спящих вокруг любопытных, резвых зверьков.

— Нежность и лень, — мягко повторил Раф, лаская кошку. — Они спят по шестнадцать часов в день. Стоит присесть — и встать уже невозможно — оказываешься сплошь облеплен дремлющими кошками...

— Рукава Мухаммеда? — насмешливо поинтересовалась я.

— О да. Невыносима даже мысль о том, чтобы обидеть или потревожить столь совершенное создание. Я, знаете ли, кошмар заводчиков. Не могу кастрировать. Рука не поднимается — здоровое животное под нож. — Раф передёрнулся, кошка вырвалась из его рук и, усевшись неподалёку, стала самозабвенно вылизываться.

— И как же вы справляетесь? Да вы должны бы уже утонуть в кошках! А прививки? Прививки делать у вас рука поднимается? А они... кошки... вольного содержания? Не сбегают из сада, не теряются?

— Сразу видно, что вы держите животных, тихо рассмеялся Раф. — Прививки делаю, кошек регулярно осматривает врач, учёт веду, нет, никто пока, к счастью, не потерялся. Они почему-то не уходят за ограду, а с ноября примерно и вовсе из дома носа не кажут — это ориенталы, они очень теплолюбивы. А что касается кошачьего потопы — бывает не больше пяти пометов в год, друзья разбирают.

— Сколько же у вас друзей? — сделав элементарные подсчёты, озадачилась я.

— О, друзей у меня довольно, — кисло усмехнулся Раф, протянул мне руку, помогая

подняться, поманил одну из кошек, и та прямо с пола запрыгнула ему на плечо, когтя тонкую ткань галабеи.

Мы вышли из библиотеки в сад, через такое же, как в гостиной, окно-дверь, и пошли вокруг дома. За нами тянулся шлейф из кошек.

Придерживая зверька на плече, Раф шурился на солнце и тихо говорил:

— Сплошная нежность, и покой, и душевное равновесие. Мне всегда этого не хватало, был слишком бойким... Ни черта не понимал в покое. Вот как вы. Об заклад побьюсь, что у вас никогда не было кошки. Собаки, да? Вы любите собак?

— Люблю. Но кошка у меня есть.

— Вот как? — удивлённо покосился на меня Раф. — Но что значит — есть? Она у вас случайно? Вы понимаете, о чём я говорю?

— Понимаю. — И, чтобы проиллюстрировать своё понимание, я подхватила первую попавшуюся кошку и стала её тискать. — Ой, а чьи это лапки? Чей это хвостик? Чьи это замечательные усишки?

Кошка, испуганно мякнув, вывернулась и сбежала по моей спине, как по парадной лестнице.

— Я ни с кем так не обращаюсь. Никогда. Ни с детьми. Ни с собаками. Не хватаю тех, кто сам не хочет, не сюсюкаю — особенно с детьми, помню, как меня это бесило, когда была маленькой, — огромный, чужой человек, страшно сморщив лицо, идёт к тебе, расставив руки, и несёт какую-то чушь. Смешно и стыдно. А кошки вызывают у меня припадки слабоумия...

— Это нежность. Неконтролируемая нежность, — сказал Раф, — вы просто ещё не умеете с этим жить. Но меня беспокоит ваша кошка. Как же она одна? Нельзя их держать поодиночке, нельзя силком вынуждать общаться с двуногими...

— Ей, понимаете ли, совершенно было не к кому больше пойти, — процитировала я. — Вы об этом?

— Да! Да. Им нужна достойная компания, свой прайд... Как и всем нам, собственно, как и всем нам...

В глубине сада, под тремя тяжёлыми, тёмными елями стоял маленький домик со стеклянной крышей, и я спросила, что там.

— А, это моя мидасова кузня. Ничего интересного. Финансовый кабинет. Там я делаю деньги.

— Ну, не врите. Не врите. Я знаю, что там — мастерская. Серёня говорил, что вы скульптор. Да кто вас не знает...

— Рафаэль Баграмян — известный московский скульптор. Модный, успешный. Его все знают, — с иронией сказал Раф, — я давно уже не художник, хорошая моя, я бизнесмен. Перегорел, устал. Захотел денег. Конъюнктуру, как оказалось, очень легко поймать...

— Вы хороший скульптор. Я видела ваши работы.

— Что значит — хороший? Я делаю то, что они хотят, а не то, что я хочу. Я работаю на заказ, и только на заказ. Единственная вещь, которую я создал за последние пятнадцать лет по собственному вкусу и только на свой и божий суд, — это надгробие для себя, любимого. Хотите взглянуть?

— Хочу, — сказала я.

Продираясь сквозь какие-то кусты, обходя клумбы и большие деревья, мы добрались до дальнего конца сада, где, среди зарослей нагой по осени сирени, сидел бронзовый мужчина с книгой, окружённый дюжиной кошек.

Кошки были как живые — они кружили около мужчины, ластились к нему, одна спала прямо в раскрытой книге, а он, опустив к ним по-птичьи хрупкую руку с длинными узловатыми пальцами, смотрел вверх — выше кошек, выше книги, выше деревьев.

Лицо его было безмятежно, а рука — расслаблена.

Скульптура была выполнена в живой, экспрессивной манере, и казалось, что ветер треплет длинные одежды мужчины, листы книги, а бронзовые кошки сейчас спрыгнут с

массивного гранитного основания и смешаются с настоящими — которые сами тут же полезли на подиум, тёплый от редкого осеннего солнца.

— Здесь похоронен скульптор Рафик Баграмян, настоящий художник, великий воин. Все свои битвы он проиграл, но...

— Не был сломлен?

...смирненно радуется и не забывает благодарить Бога за благополучие и покой. — Раф гладил кошек — живых и бронзовых и смеялся.

В смехе его не было ни горечи, ни сожаления, он просто шутил, и я поразились душевной стойкости этого человека.

Рафик Баграмян, стареющий гомосексуалист, ленивый сибарит, живущий в загородном доме среди кошек, был на самом деле стойким бойцом, это ясно.

Я подумала о его жизни, о прошлом, о простых вещах — о родителях (ведь были же у него родители?), о школе, об армии, наконец — ведь этот человек был пятнадцатью годами старше меня, он рос совсем в другой стране. Где-то он учился, где-то жил до своего райского сада, среди людей, каких-то мужчин и женщин, которые относились к нему, скорее всего, скверно — осуждали, презирали, чёрт знает что ещё, как у нас обычно относятся к геям. И он не стал ни манерной истеричкой, ни мизантропом.

А спокойно признаться — себе, в первую очередь, в том, что перегорел, устал, больше не играю — кто бы смог? Из знакомых мне так называемых творческих людей — самолюбивых, амбициозных, вечно мятущихся и по-детски гордящихся своей мятежностью? Да, пожалуй, никто.

А любовь? Да, любовь. Раф жил один. У него никого не было, кроме кошек.

Рафик Баграмян ни о чём не сожалел и не вызывал жалости. Он был богат, здоров и, по всей видимости, счастлив, а ведь, несмотря на первые два пункта, из этой жизни можно было бы сочинить совсем другую сказку — полную стонов, упрёков и самоедства. И нынешнее его благополучие удачно легло бы поверх всего этого гранитным надгробием — ах, я променял свой талант и свободу на деньги, малодушный негодяй!

Но Рафик Баграмян сидел на тёмном, тёплом камне, улыбаясь, гладил кошек, глядел в ясное небо ясными глазами и был более безмятежен, чем его бронзовый двойник.

«Без-мя-теж-ность, — повторила я про себя по слогам, чтобы запомнить это слово на вкус, — без-мятежность».

Мне захотелось сделать Рафу подарок, настоящий подарок, сияющее чудо радости. Но у меня ничего не было, кроме глупого фейерверка, и мне стало грустно.

— Покажите мне ещё что-нибудь, — попросила я.

— Что же я покажу вам, ангелочек, после собственного могильного камня?

От дома вдруг донёсся отчаянный птичий вопль. Я обернулась и увидела, что по веранде мечется Серёня, мытый, бритый, в свежей розовой рубашке и мягком зеленоватом джемпере без рукавов.

Перехватив мой взгляд, Серёня замахал руками, стал стучать себя пальцем то по лбу, то по запястью и снова крикнул, как отбившийся от стаи журавль:

— Гло!

— Что это с ним? — лениво спросил Раф.

— Беспокоится, что я не успею смонтировать фейерверк к вечеру. Серёня всегда беспокоится, такой уж он. Пойдёмте.

— Не понимаю, что вас с ним связывает, — сказал Раф. — Серёжа — педант, зануда, «белый воротничок». Ханжа. Сухарь. А вы... Вы совсем другая. Да вас должно трясти от звука его голоса...

— Противоположности сходятся. — Я помахала Серёне в ответ и поторопила Рафа: — Вставайте, пойдём. Он сейчас полезет за нами в самую чашу, испачкает башмаки и умрёт от огорчения.

Но Раф явно решил развлечься, снова спровоцировав меня на вспышку гнева.

— Ну, давайте. Признайтесь мне. Я вижу, что вы хорошо его знаете, но любите. Как так

вышло?

— Почему «но»? «И». Я хорошо его знаю и люблю.

— Так что же вас привлекает? Пикантное сочетание твердолобой добропорядочности и нетрадиционной сексуальной ориентации?

— Вот чья бы мычала, вы же... гхм... образованный человек. Вашего брата со времен Содомы и Гоморры поливают огнем и серой, а вы все «нетрадиционная»... да пойдёте же!

— Ну, сам себя не похвалишь... Нет-нет, и не умоляйте меня, с места не сдвинусь, пока не получу ответа. — Раф устроился поудобнее, опираясь о колено себя бронзового, и посмотрел на меня с весёлым вызовом. — Тайная связь? Ошибки молодости? Общий ребёнок?

— Общий покойник. — Мне надоела эта игра, я уселась на кучу листьев, подоткнув под себя юбки, как цыганка, и уставилась Рафу прямо в глаза: — Леда.

— Леда, — эхом отозвался он и перестал улыбаться.

— Леда. Вы были знакомы, да? Она погибла два года назад. Нелепо, страшно. Её изнасиловали, да ещё избili до полусмерти — потому что она была сильной, как мужчина. И сопротивлялась. Как мужчина. Но они одолели её. Она жила ещё целых четыре дня. В больнице. А потом... У неё никого не было. Кроме нас с Серёней. Мы и хоронили. Хоронить перевёртыша, транссексуала, женщину, которая по документам — мужчина, да в Москве, да не будучи ей кровными родственниками, это, я вам скажу, трип не для слабонервных. А Серёня... Вы говорите, что он сухарь. А он кремень, скала гранитная, китайская стена. Он всегда там, где должен быть, он всегда делает то, что обещал... Я не знаю человека надёжнее, чем он.

— Я не знал... То есть я знал, что она умерла в больнице, но не знал, что... Боже мой, да если бы я знал, я бы помог... С похоронами помог и вообще...

— А что это вы вдруг сменили тон? Серёня перестал быть ханжой и занудой? Всё, что я рассказала, — дела давние, обычная шлюхина история, и у вас, я уверена, таких навалом.

— Что вы такое говорите? Шлюхина история — что за чушь!

— Обычное дело. У каждой шлюхи, простите, добропорядочной шлюхи, есть своя шлюхина история — он меня обманул и бросил, а мама меня никогда не любила, а папа бил, в общем, тяжёлое детство, деревянные игрушки. И, знаете, это всегда — чистая правда. Но шлюха от этого не перестаёт быть шлюхой.

Раф встал, схватил меня за руку, поднял рывком и потащил к дому. Он шёл быстро, не разбирая дороги, подол галабеи хлопал на ветру, как парус, бил его по щиколоткам, цеплялся за ветки кустов. Я едва поспевала за Рафом и попыталась выдернуть руку, но хватка у него была железная. Раф ломился сквозь заросли, как дикий кабан, тихо бормоча:

— Шлюхина история! Маленькая безжалостная дрянь... Надо же — шлюхина история!.. Да вся моя жизнь — шлюхина история...

Я подхватила юбки и ускорила шаг, оставив попытки вырваться.

Когда мы вышли на мощённую плиткой дорогу, Серёня устремился к нам навстречу. Раф взял себя в руки, а меня, наоборот, отпустил. Я остановилась, потирая запястье.

— Не смейте сердиться. И не смейте ябедничать, вам ясно? — сказал Раф, строго глядя на меня.

— Я и не сержусь. Мужчина, будь он хоть трижды гомосексуалистом, всегда наказывает надерзавшую ему женщину, демонстрируя своё физическое превосходство.

— Убил бы, — проворчал Раф и тут же, улыбаясь, как Король-Солнце, сладко сказал подоспевшему Серёне:

— Не волнуйтесь, Серёженька, вы всё успеете. Сейчас около четырёх, а гости начнут съезжаться ближе к вечеру. — Но увидев, что Серёня весь извёлся, добавил: — Ну, идите, идите. Сажайте свои огненные цветы.

Раф, ссутулившись, направился к дому. Серёня метнулся к машине, достал мой ящик с пиротехникой и, пока мы прикапывали мортиры, непрестанно зудел:

— Что ты ему наговорила? Он был явно чем-то огорчён... У человека день рождения,

между прочим, и ты могла бы придержать свой гадкий язык хотя бы из вежливости... Господи, кому я это говорю? Разве ты знаешь, что такое вежливость? Ты...

— Серёня, скажи, тебя мама в детстве часто ругала?

— Почему ты так решила? Мама очень любила меня. — Серёня выпрямился и безразлично посмотрел на свои испачканные руки.

— Ну, может быть, не ругала. Может быть, делала тебе замечания...

— Конечно, делала. Как все мамы, которые любят своих детей и хотят, чтобы их дети выросли честными, аккуратными, порядочными людьми. Вот твоя мама, вероятно, баловала тебя сверх всякой меры...

Серёня встал, отряхнул прах со своих брюк и стал ходить божьим маятником вправо-влево, продолжая читать мне нотацию.

«Маминым голосом, — думала я, — он говорит со мной голосом своей мамы. Мама любила его и всё время бранила и одергивала ~ чтобы мальчик вырос честным, аккуратным, порядочным человеком. А мальчик вырос и говорит теперь с теми, кого любит единственно верным голосом любви — голосом своей мамы. И Серёня действительно похож на журавля — как я раньше не заметила? — нос чуть длинноват, губы чуть узковаты, лопатки торчат как крылья, нескладный, длинноногий». Я почувствовала прилив неконтролируемой нежности, и мне захотелось как-то сказать ему об этом, как-то так, чтобы он понял.

И я сказала:

— Серёня, так нельзя. Вот у меня спина болит, а ты чего? Расслабь поясницу, отпусти плечи, а то кажется, что у тебя стальная спица в заднице.

— Какая ещё спица? — возмутился Серёня.

— Стальная. По самую голову. А должна быть пружина, понимаешь? Задница — важное коммуникативное средство, ею надо подавать сигналы, а не таскать за собой как гроб с младенцем.

— А откуда белая женщина узнала страшную тайну чёрных про пружину в жопе? — спросил внезапно голос с небес, и я подумала: «Хандец. Неужели молнией убьёт? Надо умереть достойно, а не раком».

Почти без усилий разогнувшись, я увидела здорового веселого негрилу в красной майке с надписью They Killed Kenny, линялых джинсах, плотно обтягивающих крепкие ляжки танцовщика, и завизжала:

— Кен! Кеннии! И ты здесь, черномазый ублюдок!

— Белая шваль! — Кен обхватил меня за талию, но кружить не стал, только слегка приподнял. — Что, спинку потянула, darling? Ходишь, как кошка перекошенная. И грустенькая такая, что ты такая грустенькая, мой маленький печальный светлячок? Кто обидел? Покажи говнюка папе Кену, сиса, и папа Кен сделает из говнюка двоих.

— Зачем же нам два говнюка, браза? Никто меня не обижал, это я, я обидела Рафика. А теперь не знаю, как его развеселить... — Я склонила голову повинную и боднула Кена макушкой под дых.

— Ай, улыбнись, sweetheart, это мы моментом поправим. Посмотри, каких я орлов, sorry, голубей привёз! Мы его сейчас не то что развеселим, мы его плакать от счастья заставим! Я же свой стрип-дэнс полным составом в гости притаранил!

— Так я, чай, тоже не пустая приехала, браза! С огоньком! — похвасталась я.

— Так мы им сейчас тут подзажжём не по-детски! — подмигнул Кен и повел меня знакомиться с коллективом.

По саду шлялись ещё человек шесть верзил разного цвета. С некоторыми из них я уже была знакома, мы пообнимались, поулыбались, как-то быстро все поладили и стали изобретать праздничное шоу. Серёня сдал нам два хозяйских чулана, из которых мы повытащили кучу садовых и ёлочных гирлянд, фонариков, плашек, проволошек и проводов. Тут-то и пошло настоящее веселье — мы оплетали деревья гирляндами, тянули провода, расставляли плашки, «разводили выходы».

Кен посадил меня на дерево, как больную белку, и вот, сидя на ветке, подгрызая

проводки и соединяя их заново (чёрненький с чёрненьким, красненький с красненьким, ага), я вдруг нашла себя абсолютно безмятежной. И даже счастливой. Да, сидя на дереве. С проводом в зубах, одним солнечным днём. В красных сапогах и чёрной юбке в пол, с розовым подъюбником. Так всё и было.

Я смотрела на Кена, который репетировал со своими парнями, зубоскалил и почти без усилий изображал здоровенного весёлого негрилу. — Кен, Кеша, Иннокентий, русский мальчик, коренной москвич, подарок той самой легендарной олимпиады, названный мамой в честь любимого актёра Смоктуновского.

Кен поймал мой взгляд и проорал: — Систа, ты похожа на обезьянку! И я бросила в него горсть золотистых листьев.

Я подумала о покое и безмятежной, безадресной нежности, когда уже всё есть или всё было, и уже не нужно никуда бежать и никого хватать, о своей любви, которая, может быть, последняя и навсегда. Что сердце моё спокойно сейчас и звучит глухо, как шаги по траве, оно не бьётся взбесившейся лошадью и не застывает мёртвой ящерицей. И этот ровный ритм даёт какую-то новую силу, я просто ещё не привыкла. Что вот этого мне и не доставало последнюю пару лет, вот этого совершенно дояблочного райского братства, детского сада этого.

От глупых мыслей меня отвлекло тихое урчание серебристой «тойоты», аккуратно ползущей по садовой дорожке.

Гости собирались, и надо было поторопиться с монтажом вечерних чудес.

Потом, когда мы разводили последний танец с огнем, я проклинала каждый шаг, вспоминая недобрым словом Андерсена, Русалочку и острые-острые ножи, пока верзила в бейсболке не сказал:

— Фигли ты мучаешься? Всё равно же видно, что тебе больно двигаться, так утрируй эту пластику. Дай этим сукам жёсткого модерну и пусть сдохнут или кончат!

Когда стемнело и «эти суки» потянулись на веранду, сад мерцал. Деревья проявлялись и исчезали светящимся контуром, из-под земли били фонтаны разноцветных искр, с веток сыпался серебристый дождь, и призрачные тени танцевали танец танцующих деревьев.

Мы работали 12 минут (плюс шесть часов подготовки).

Уехали почти сразу же.

— Ну их к чёрту, — сказал Кен, — не будем портить этот fucking miracle.

Раф вышел нас проводить и всё повторял растерянно:

— Что же вы уезжаете так скоро?

Но я знала — надо уезжать, надо оставить ему в подарок это маленькое чудо, которое так внезапно появилось вместо глупого фейерверка, и было приятно знать, что всем причастным к чуду это ясно — парни молча улыбались, принимая похвалы гостей, и торопливо рассаживались по машинам.

А мне было явление повара. Филиппинец проскользнул к Серёнину «рено», погладил меня по плечу и сунул два бумажных пакетика с какой-то сушёной мерзостью.

— Сюп, — сказал он и дальше объяснил руками, что два часа на маленьком огне, а потом процедить. И повторил: — Сюп, ты понял? Ясно?

Я прижала пакетики к груди и покивала:

— Понил, спасибо. Ясно, ясно...

Хорошие собаки

Чеховский фестиваль всё приносит и приносит всякое, как морской прибой. И радости принёс, и французского цирка, и работы, и встреч с друзьями — хочу я этого или нет (о да, вот спросить забыли, надо ли мне было чего-нибудь, кроме французского цирка).

Ну, по поводу ещё работы я уже оторалась. Оторавшись же, села, подумала внимательно, и — о чудо! — выяснилось, что её (работы) ничуть не больше, чем обычно.

Столько же, сколько прошлым летом. Столько же, сколько зимой.

Беда в том, что зимой-то легче лёгкого быть трудолюбивым аскетом, а в июне, в июне вот запахло.

И я хожу по дому и вою, как перекинувшийся вервольф — ааауууыыыыыыыыыыыы-ыы-не-хочу-раааа-бо-тать-не хо-чууууууууу-уаааууууууу!!!

— А чего хочешь? — невозмутимо спрашивает любимый мужчина.

Я прекращаю вой и, поразмыслив минутку, честно отвечаю:

— Шляться.

Я действительно хочу только одного — шляться. Шляться по Москве. И мне не надо ни шоколада, ни мармелада, ни Туниса, ни Мадрида, и на работу не хочу.

Только шляться по Москве, наматывая километры тротуаров, заползая в незнакомые переулки, читать дурацкие названия — Скаррядтинский, А-ще-улов, Первый Бабьегородский, Второй Бабьегородский (а кто-нибудь знает, сколько их всего, Бабьегородских-то?), Ножовый, Медвежий и Лихов — выныривать в запылённых сквериках, сидеть как посторонний, как турист, на ступенях Пашкова дома, пить тёплую воду из трижды проклятой гринписовцами пластиковой бутылки и наблюдать, как мальчишки из Кремля катаются на своих машинках с мигалками.

Я её совсем забыла — Москву. Забросила. Оставила. Не помню, как куда откуда выйти и где свернуть, чтобы.

Соскучилась я по Москве, вот что, и теперь сбегаю со спектаклей, отмазываюсь от необходимых встреч, вру в телефон всякое и провожу среди себя внезапные экскурсии.

Ну а кто бы ещё смог? Среди моих знакомых плохо с теми, кто, мило щебеча, может отмахать семь километров пешком и не подохнуть. А это как раз мой минимальный прогулочный формат.

Вот вчера топала от трёх вокзалов до девятьсот пятого и вспоминала разными нехорошими словами разных хороших людей, к слову, моих нынешних работодателей.

«Вы ебанулись, — думала я, — нет, вы не ебанулись — вы охуели. Не побоюсь этого слова — вы действительно охуели».

Брать меня на работу и тащить обратно в театр — это надо действительно охуеть.

Потому что это не мой прогулочный формат.

Где-нибудь на площади что поставить, чтобы там взрывалось, летало с двадцати метров, чтобы трансвеститы в перьях, цирковые в блёстках, механическая летающая свинья, исполняющая арию Доницетти, ходулист с фальшфейером в жопе и кордебалет в шахтерских касках с фонариками — это да. А театр... Ну, не люблю я театр, карнавал люблю, а в театре вашем мне не развернуться. Я давно уже не театральный художник, а уличный. Видели, постеры висят по всему городу — «Великие художники России на улицах Москвы»? Во, так это мы самые и есть. А тут вдруг — театр. Театр, господи боже ты мой!

Я чувствую себя странно. Как медведь в цирке. Не цирковой медведь, нет, а дикий, чёрный, костлявый шатун, не спавший три зимы подряд, которого случайно — ну вот случайно — занесло в шапито.

А там — освещённая арена, красный бархат и дюжина чистеньких, беленьких, кудрявых цирковых собачек смиренно сидит на тумбах и смотрит доброжелательно.

— Ну, хорошо, — говорит шатун (то есть — я), вздыхает, садится на предложенную тумбу, по-кошачьи утирает морду лапой, чтобы сосредоточиться, и, как может вежливо, продолжает: — Хорошо, блять. И какова концепция нашего спектакля?

Вот такой французский цирк примерно. Хотя, опять же, если подумать — двенадцать действительно охуевших собачек вполне могут комфортно сработаться с одним ебанутым медведем, пуркуа бы да не па?

И с этими мыслями прихожу на девятьсот пятого, чтобы встретиться там с одним театральным критиком, предвкушая с некоторым злорадством, как немедленно потребую посетить ресторан «Макдоналдс», в туалет и мороженого с карамелью.

Но театральный критик, маленький, бледный и хитрый выюн, приводит с собой крупного чёрного мужчину.

И мужчина этот настолько хорош (очень высокий — сторожевая башня — и очень чёрный, только ладони светлые, и тёплые, и мягкие, как солнечная дорожная пыль; и решительной лепки скулы, и запавшие щёки, и челюсти, как у термита, и губы — чётко очерченные, большие, цвета переспелой сливы), что я напрочь забываю и про мороженое, и про карамель и, не сдержавшись, громко радуюсь:

— Вау! Это мне?!

Чёрный мужчина хохочет, а театральный критик говорит:

— Жан-Луи. Это — Жан-Луи, он движенец и... и... в общем, я думаю, что его интеллектуальный уровень полностью соответствует твоему. Жана-Луи так же легко рассмешить.

Движенец — это человек, который умеет фехтовать, танцевать и жонглировать семью шарами (просто семью шарами, а не своими семью шарами, если что).

Мы немедленно идём гулять дальше, через два километра театральный критик отваливается, несмотря на свой запредельный iq.

Отпаиваем страдальца водичкой, ловим тачку, сгружаем его туда и, наконец, можем ускорить шаг.

Москва дышит грозой, небо низко, близко, и ветер рвёт из рук чёрного человека куртку, в которую он запаковывает меня на каком-то перекрестке.

Я становлюсь похожа на военного сироту — разбитые «шелли» на два размера больше, из которых торчат голые ноги, дальше кожаный лапсердак по колено, из которого торчу остальная я — как щука из проруби.

— Пойти снег, да? Снег? — спрашивает Жан-Луи, оглядывая хмурое небо.

— Конечно снег. И медведи пойти. И балалайки. Мы же в Москве, детка, как же иначе.

Но пойти дождь.

Прячемся в крошечной кофейне, где приобретаем бутылку белого рома и тырим весь тёмный тростниковый сахар со стола.

Вываливаемся из кофейни обратно в дождь и встречаем новенький, сияющий «кавасаки», гладим его по рогам, похлопываем по тёплому металлу боков, но угонять мотоцикл — это слишком, взрослые же люди, мирно помахав ему, уходим дальше, он жалобно повизгивает нам вслед.

Ром делает погоду приемлемой, а беседу — оживлённой. Наперебой трещим на трёх доступных языках, и чёрный человек хвастается, что много знает русский, а вчера выучил три новых слова — жопа, картоха и въебать (ну, хуле, театральные работники плохому не научат).

Я говорю — се манифик! — и мы углубляемся в лингвистические и московские дебри.

— Почему в русский столько ебать? — простодушно интересуется мой спутник, отличающийся, видимо, недюжинной памятью. — Отъебить. Доебитсо. Ебить твой мать. Это как?

Я объясняю разницу между въебать, выебать и наебать, ром и дождь начинают кончаться, мы насмерть запутываемся в клубке не узнанных мною переулочков, как кот в кустах, оплетённых повиликой.

Везде что-то строят и перестраивают, перекопано, огорожено и перекрыто, дома, как прокажённые, завешены серым тряпьем, только колокольчиков не хватает, красные фонари, жестяные вагончики и дыры в асфальте.

Упираемся в глухую кирпичную стену, оставляем пустую бутылку в куче мусора под и влезает на — чтобы оглядеться.

Наверху хорошо — ветерок, и тучи разошлись, сидим, болтаем ногами, беседуем за жизнь как танец и кто кого ведёт.

— У меня так было, — рассказываю, — почти полтора года я её вела. Знала, чего хотела, и последовательно так, рас-рас-рас — и поворот, — рисую на салфетке схему, показываю, — все получилось, до сих пор удивляюсь...

Чёрный человек с сомнением качает головой.

— Да правда, — говорю.

— Так не бывать... долго? Потом как лё шадка...

— Чего?

— Лё шадка. Прыгает — ап-ап-ап! — очень похоже изображает лошадку, сбрасывающую седока, быстро и много говорит по-французски про жизнь и взбесившуюся лошадь, мягко говоря, живо жестикулирует, так, что я невольно заглядываюсь на танец ладных, сильных черных рук и забываю слушать.

— Эй! — тормозит меня Жан-Луи. — Ты где? Ты не слушал? Не понимал? Слишком быстро?

— Точно, — усмехаюсь я, с усилием отводя глаза от Black Beauty, — слишком быстро. Мне бы пару месяцев посидеть спокойно, всего пару месяцев ещё, но где там. Понеслось, потащило, закружило, перемены какие-то ебучие, да так быстро, что мух ловить не успеваю...

— Надо расслабить. Релакс, — смеётся он, — портишь танец. Ты же есть, что хотел? Теперь она. Надо доверять партнеру, — спрыгивает со стены, протягивает мне руки, ловит мягко, ставит аккуратно.

Лезем через какие-то руины, выползаем к действующей стройке, где нас атакует стайка собак.

Чёрный человек молниеносно поднимает меня на плечо и делает попытку драпануть. Придерживаю его за уши:

— Куидадо... тьфу ты, пропасть... Нельзя бежать. Стоп. Поставь меня на место. Вниз. Даун. Даун, блять.

Собаки взяли нас в коробочку, но близко пока не суются. Мужчина пожимает плечами (на одном из которых сижу я) и ставит меня на землю.

Я обращаюсь к собакам с короткой речью — мы свои, мол, кричать не надо, а надо, наоборот, подойти спокойно и принять дары.

Лезу в сумку, достаю оттуда всякое, раскладываю. Мой новый знакомец хмыкает и тоже лезет в рюкзак. Собаки сразу врубаются, прекращают ор, подтягиваются поближе, повиливая хвостами и поводья носами.

Еда всё прибывает. Мы с чёрным человеком переглядываемся, пересмеиваемся — пара мятых бутербродов, шоколадка, чипсы, печеньки, сыр, сырок, сырные палочки, тростниковый сахар, наконец. Яблоко оставляем себе.

Собаки явно не бедствуют, но из вежливости сметают всё, даже сахар.

— Нельзя так хранить собак, — говорит Жан-Луи с осуждением, — опасно для человек.

Объясняю, что это бродячие собаки, что они часто сами нанимаются на работу — охранять стройки, автостоянки, всякое такое, что они почти ручные и бояться их не надо.

Я глажу по глазам, по морде красивого полукровка, ржаво-черного, с крупной головой и большими лапами — вылитый кавказец, но поменьше, полегче. Лет четырём.

Хорошего пса сразу чувствуешь, и мне нестерпимо хочется сманить кобелька, увести с собой, но дома — Собакабаса, которая точно не обрадуется такому соседу.

Поэтому я просто чешу ему подбородок, глажу кончики ушей.

В разгар нашего братания с собаками из строительного вагончика появляется огромная бабища в оранжевом комбинезоне.

На руках у неё — облезлая болонка с голой розовой задницей.

Щеки у баб ищи такие круглые и толстые, что глаз и носа пипочкой почти не видно.

— Жопа! — радуется возможности пристроить новое слово чёрный человек. — Какая жопа!

Но бабища оказывается не жопа, а сторож, гонит нас взашей, орёт и гневается. Болонка поднимает голову и суетливо облизывает ей лицо.

Мы сбегает, снова лезем через стену и, немножко поплутав, выныриваем у Театра

Васильева.

На Сретенке покупаем ещё рома и направляемся к Чистым прудам, где немедленно обижаем группу детей, танцующих с огнем.

Жан-Луи отнимает у мальчика думбек, я отнимаю у девочки пои, и начинается пьяный беспредел.

Я плююсь огнём, как гоанский нищий, мы собираем толпу, чёрный человек не может усидеть на месте (ну — движенец), втяхивает барабан обратно мальчику, отнимает у сбившихся в кучку действительно охувших детей ещё пару моталок и выскакивает ко мне в круг:

— Покажи, как ты делал? Покажи!

Я показываю, он схватывает влёт (ну, движенец же, говорю), и мы вполне бодро пляшем какой-то марокканский танец, пока он (движенец, блять) не начинает учить меня правильно трясти сиськами.

— Не так делал! Не так ноги ставил! Смотри!

Я смотрю на него, стараюсь ставить ноги, как он — на внешнюю сторону стопы, и поражаюсь тому, как плавно двигается эта чёртова чёрная кошка, как легко и точно широкоплечий высокий мужчина рисует в пространстве женщину.

Огненные шмели на цепочках мечутся, гудят, замыкают круг, приглушают внешние звуки — гул публики, сухой треск дешёвенького думбека, но я знаю, что это ненадолго.

Шмели превратятся в маленьких синих светляков, а потом и вовсе исчезнут, и мы перестанем быть сферическими конями в вакууме, уличный шум обретёт ясность и объём, круг разомкнётся.

Фитили отгорели, публика завопила, мы вернули детям их игрушки, насыпали денег в чехол от думбека — за прокат реквизита и влились в вечернюю толпу.

Нас неспешно несёт к Покровке, Жан-Луи, передав мне бутылку с ромом, вздыхает:

— Ох, устал. Надо кофе...

— Кофе — это вряд ли. Мы пьяные, чумазы, и керосином от нас шмонит на десять метров.

— Как это — шмонит?

— Stink, — говорю я и картинно морщусь. — Dirty, — и показываю ему руки.

Жан-Луи, с трогательным удивлением пьяного, начинает разглядывать свои руки.

— Поищи чёрную кошку в тёмной комнате, ага, — одобряю я.

Мы переходим дорогу, сворачиваем в Хохловский и тотчас напарываемся на группу бритоголовых подростков (ну, мне там всегда не везёт).

— Балетки! — радуется Жан-Луи, тыча пальцем в подростковые говнодавы. — Балетки! Как твой!

Подростки тоже проявляют некоторую радость, тыча пальцами в моего спутника и приговаривая — черножопый.

Жан-Луи моментально трезвеет, группируется, взгляд становится хищным, но при этом продолжает исполнять пьяного монаха.

— Это кто? — спрашивает, обводя широким жестом бритоголовых.

— Не знаю, — отвечаю с ленцой, — наверное, скинхеды. Дети, вы скинхеды?

— Скинхеееды, — тянет чёрный человек. — Скинхеды — это плёхо. Давай их вьебать?

— Ты что? — говорю. — Это же дети. Детишки. Их нельзя вьебать.

— Я неправильно сказал? Вьебать — это бить. Выебать — это... как?... делать секс...

— Выебать. Трахнуть, переспать, занять кого-нибудь любовью. Ну да — делать секс.

— Я правильно сказал! А ты — неправильно. Дети нельзя переспать. Дети можно бить. Мы будем их бить, а не вьебать.

— Все равно неправильно. Вьебать — это ударить. Один раз ударить, понимаешь? — Я показываю короткую пантомиму. — Правильно было бы сказать — давай их отпиздим.

— Отпиздим?

— Отпиздить. Избить. Вздуть. Поколотить. Отлупить, — изображаю жестами разницу между всем перечисленным и «один раз ударить», удивляясь про себя, что дети до сих пор не кинулись пиздить нас.

Бросаю взгляд в сторону — улица пуста. Детишки растворились в темноте, видимо, рассудив, что с психами, благоухающими керосином, связываться не стоит.

— А где дети? ~ отвлёкся от постижения русских смыслов Жан-Луи.

— У-еб-ли.

— Опять ебать. Ты сказала, что много других *слов*.

— Ей-богу — много. Я тебе потом разговорник подарю. Словарь.

— У меня есть. Я купил. — Жан-Луи достаёт из рюкзака синюю книжицу. — Смотри — хороший?

«Словарь театральных терминов» — читаю на обложке и хвалю:

— Очень хороший. Увидишь, тут много других слов, кроме «ебать». Мамой клянусь.

Мы извилисто бредём к Лубянке, болтая о фестивале.

Я жалуюсь, что в этот раз смотрю только то, что нравится.

— Это неправильно, — говорит чёрный человек.

Я соглашаюсь — так и есть. Это неправильно — видеть только то, что и так знаешь. Иногда невредно пускать под пустынные своды черепа чужие мысли. Чуждые. Некомфортные.

В этом и смысл — сменить хоть ненадолго точку сборки. Увидеть другими глазами.

— Что это есть — новый театр? — горячится в ораторском раже Жан-Луи. — Новый театр — это п-ф-уй, ничего! Театр всегда как всегда! Одни — представлять, сочинять, петь, другие — смотреть, смеяться, плакать! Всегда как всегда! Старый...

— Точно. Старый клоун борозды не испортит, — несколько некстати говорю я.

Мне жаль смотреть, как мучается Жан-Луи, стараясь орально донести до меня всю боль своего сердца.

— Что это — русский поговорка? — Жан-Луи сбивается с темпа, останавливается под фонарём, мучительно морщит лоб. — Я учил её в учебник. Она про другое.

— Про другое, — легко соглашаюсь я. — Прости, что перебила. Но... ты понимаешь... Что толку говорить о театре?

— Да! — снова оживляется Жан-Луи. — Театр не надо говорить, театр надо делать! Как любовь!

Он резко делает пируэт; в неверном, зыбком свете фонарей и отблесках витрин брусчатка у него под ногами отсвечивает, как чешуя дракона.

Я смотрю, как он отплясывает на драконьей спине Кузнецкого моста, французский жеребец, святой Георгий, и мне становится жаль нас обоих, так жаль.

Господи, движенец и художник, две бессловесные твари, две рыбы, бьющиеся в сетях чужих, почти незнакомых языков, решили перетереть за искусство!

«Где же наш театральный критик, — с тоской думаю я, — наш чахлый умник, уж он-то наговорил бы нам сейчас о театре — нового, интересного, даже парадоксального. А мы, косноязычные животные, что мы можем сказать друг другу, кроме честных банальностей, кроме правды «от сердца»?»

Слепцы о слоне. Театр — это движение. Театр — это цвет. Театр — это смысл...

Чёрный человек внезапно оказывается близко, слишком близко, как ночное небо, слишком большой, слишком тяжёлый, слишком жаркий для такого холодного даже летом города.

— У тебя глаза зелёный и жёлтый. Как у змеи, — говорит он тихо. — *Petite dragon*. Дышать огнём. Губить людей.

— *Dragon de vertu*, — отшучиваюсь я, ныряя ему под руку, уклоняясь, как безоружный фехтовальщик в драке, увлекая его дальше, дальше, пусть смотрит на мою Москву, не на меня.

Забирая в сторону от Красной площади, идем к Большому Москворецкому, долго

стоим, глядя в тёмную, далёкую воду.

Сквозь привычный уже, плотный ночной шум, как сквозь войлок, назойливо пробивается какой-то посторонний, но смутно знакомый звук, я прислушиваюсь, стараясь вспомнить — что это? — и начинаю хлопать себя по карманам. Это телефон. Мой телефон.

Нахожу трубку с десятком неотвеченных вызовов, перезваниваю:

— Ололо. Привет. Прости. Я не слышала, да. Да, собираюсь. Скоро. Ну, как хочешь... А ты где? У «Новокузнецкой» через двадцать минут. Хорошо, давай. Пока-пока...

— Это у тебя муж? — Чёрный человек не отрывает взгляда от воды.

— Вроде того. Он за мной приедет, пошли. Отвезём тебя к гостинице.

Мы спускаемся по лестнице, зацепившись друг за друга мизинцами. Как дети.

Жан-Луи начинает что-то рассказывать — быстро-быстро, так, что от меня ускользает не только смысл, я перестаю различать отдельные слова, всё сливается в мелодичное, густое мурлыканье, но я не останавливаю его — зачем?

Я иду рядом и думаю — если он отнимет руку, закроет глаза и заткнётся — я его потеряю.

— Ты не похожа, что у тебя есть муж, — сварливо говорит Жан-Луи.

— У меня нет мужа. У меня есть мужчина. Бойфренд. Понимаешь?

— Бойфренд — это несерьёзно. — И снова начинает раздражённо мурлыкать, набирая обороты.

А я впервые, наверное, за последние пять лет, с острым сожалением думаю, что бойфренд — это серьёзно, о самурайской чести, которую мне, вероятно, имплантировали взамен утраченной девичьей.

«Лучше бы сиськи», — думаю я.

Украдкой оглядываю чёрного человека. Он мне нравится. Мне всегда нравились мужчины, обладающие качествами хороших служебных собак.

Силой. Надёжностью. Свирепостью.

И хотя этот больше похож на кота, а пахнет так и вовсе белочкой, я знаю, что он хорошая собака. Хорошую собаку сразу чувствуешь.

Но ведь я тоже — хорошая собака.

Поэтому я не дёргаю его за руку, не сворачиваю к набережной и не выключаю телефон, мы идем к «Новокузнецкой», две хорошие собаки, одна из которых склоняется к мысли, что быть маленькой сучкой временами гораздо проще.

У метро вижу знакомую машину, знакомый силуэт рядом, говорю — о! За нами уже приехали!

Жан-Луи резко останавливается, вскидывает руку, и, как по волшебству, на пустой улице появляется серебристая «тойота», тормозит рядом с нами.

— Поеду сам.

— Как знаешь. — Мы обнимаемся, трижды расцеловываемся, он садится в машину.

Отхожу на шаг, но Жан-Луи снова открывает дверцу, ловит меня за рукав:

— Подари мне вещь. Маленький вещь, просто так.

Я опускаю руку в сумку, шарю — прокладка, книжка, зонтик, кусачки, яблоко... Яблоко!

Протягиваю подарок, Жан-Луи смеется, берет яблоко, и его увозят от меня.

— Что это за поц? — спрашивает любимый мужчина, когда я ссыпаюсь на переднее сиденье.

— Так, один движенец. Поехали домой, ангел, поехали, утро почти, — отвечаю я, маленькая сучка.

Дмитрий Воденников

Исповедь китайского лиса-оборотня

Честность

Для обычной зоологии китайский лис не очень отличается от остальных, но это не так для зоологии фантастической. Статистика указывает, что продолжительность его жизни колеблется от восьмисот до тысячи лет. Считается, что это существо приносит несчастья и что каждая часть лисьего тела имеет волшебное назначение. Ему достаточно ударить хвостом об землю, чтобы вызвать пожар, он может предсказывать будущее и принимать образы стариков, или невинных юношей, или учёных

Хорхе Луис Борхес. «Книга вымышленных существ».

1

У ксицунэ может быть до девяти хвостов.

«Википедия».

Хорошо быть лисой. Особенно китайской. Встретишься с человеком в чистом весеннем поле (бежала по чёрной пашне, тьякала, искала мышь), а человек посмотрит в твои синие равнодушные глазки, на два твоих колдовских хвоста (а третий растёт), слезет с коня и говорит: — Хочешь со мной жить?

Сидишь на попе в жирной апрельской земле, лижешь свой первый хвост и отвечаешь: «Нет».

Но человек не слышит «нет» (такая его человечья доля, такое твое лисье проклятье). Жаворонок вьётся в небе, свиристит. Мышь под землёй скребёт. Трава беззвучно растёт. Каждому своё. Человек всегда слышит «да». Смотрит на тебя как на свою собственность и не видит: ни первый хвост, ни второй, ни третий, который уже растёт, ни морд у в усах.

— Значит, будешь жить со мной? — говорит.

— Значит, буду, — отвечаешь уже, как смирился.

И вот уже везут тебя домой.

Матушка, матушка, что во поле пыльно?
Сударыня-матушка, что во поле пыльно?

А то и пыльно, что три хвоста дорогу метут.

2

...Достигнув пятидесяти лет, лиса может превращаться в человека; в сто лет — обретает способность узнавать, что делается за тысячу ли от неё; в тысячу лет — способность общаться с Небесами. Справиться с такой лисой человеку не под силу. Нрав же у неё непостоянный, превращения бесконечны, и обольщать она умеет... <...>...собираясь превратиться в женщину, лиса берёт теменную кость умершей женщины; если же лис желает превратиться в мужчину, он берёт такую же кость, но мужскую. Возложив эту кость себе на макушку, они принимают кланяться луне. Ежели превращению суждено совершиться, кость удержится на голове при всех поклонах. Ну а коли не удержится — значит, не судьба!

Г. Л. Олди. «Мессия очищает диск».

Первый год прошёл. Второй год прошёл. Третий год платком помахал.
Лежит человек с тобой, живой, горячий. Лежит, как в могиле. Тобой же закопанный.

Плачет. А любой плачущий человек, как ребёнок. Девочка, мальчик, собачка.

Как его отпустить? Как его ударить? Как ему сказать: «Я не люблю тебя?»

В самую мякоть сказать: «Ничего у нас не получится».

Лиса не умеет в таких случаях говорить «нет». Всегда — «да».

(Это же только человек — честный воин, с большой буквы и не как все — способен рубануть по пальчикам из любовной могилы, которые царапаются, лезут, уцепиться пытаются, жить хотят. Лиса рубануть не может. Жалко ей. Что ж с неё возьмёшь: она же — подлая.)

«Ну что ты, не плачь, я ещё с тобой поживу», — говорит.

И вот ребёнок перестаёт плакать, и встаёт с постели взрослый человек, и в глазах его степь. Тёмная, тысячелетняя... «Моё», говорит, «моё», «никому не отдам», и тянет тебя эта безымянная, не различающая тебя, но внимательная к твоим движениям сила — в дырку, в душную человеческую нору. Глядит пристально. Наблюдает. Стережёт.

За дверьми — хозяйство, укоренённость, родня, пёс цепной лает. У тебя — за плечами — ничего. Окно одно. В окне — луна. А хотелось бы — жаворонка, мышку. В небе — полетать. Но не тут-то было.

Хвать тебя за горлышко, перехватил за холку: вот тут летать — полезно (показывает на постель), а вот тут — нет. Не полезно.

И опять глазами тёмными смотрит. А в них бездна.

(Эта бездна — у них любовью зовётся. Тупая, жаркая, злая, аж дрожь берёт.)

Висит лисичка — за холку схваченная — вниз головой. Ботинки хозяина рассматривает.

— Я люблю, когда я у тебя один и ты у меня одна, — лисе говорят.

Лиса послушно кивает. Хотя сама и не навязывалась.

(При этом у человека корова в хлеву мычит, дети чужие за стенкой визжат: справное всё же хозяйство, с цветочками.)

— Но и это ещё не всё, — продолжает настаивать человек (степь же, она, оказывается, разговорчивая). — Мне нужна только правда. Никогда не лги мне. Ложь разлагает. Запомни это. Бабах, приехали.

Извернулась, цапнула за руку, вырвалась, на пол брякнулась, в стойку встала (задом к углу, пастью к говорящему):

— Правду хочешь? Так ты же знаешь её, правду-то... Лучше меня знаешь. При твоей-то чувствительности. Оттого и плакал. Или, может, ты плакал, что тебя блохи замучили?

Молчит.

Опять начинает плакать.

— Хорошо, — говорит лиса с закипающим раздражением. — Хочешь свою поганую правду? Возьми её: не люблю я тебя.

— Нет, — отвечает, плача. — Любишь. Потому что я знаю, что у тебя любовь ко мне — есть. Я её чувствую. Когда её не станет, я уйду. Или тебя прогоню.

(Прогонишь, ага, как же... А внутри — у лисы пустота.)

— Ок, — говорит, — есть.

Ложится обратно в постель, сворачивается в крендель и вылизывает себе четвёртый хвост.

А пес человека за дверью заливается злобным лаем. Даром что трахнутый на голову кобель. Но чувствует. Давно его усыпить надо. Ненавижу его.

3

«Я решительно ничего не боюсь, — отвечал лис. — Однако лет десять тому назад, когда я был по ту сторону горы, я как-то украдкой поел на полевой меже, и вдруг явился какой-то человек в широкой шляпе, с орудием, искривлённым на конце, в руках, — и чуть

было не убил меня.

До сих пор ещё его боюсь».

Пу Сун Лин. «Рассказы Ляо Чжяя о чудесах».

Каждый человек для другого человека учитель (это мне тоже одна китайская чернобурка сказала). Я недавно лишний раз в этом убедился. — Будешь любить меня? — спросил лис. — Буду, — ответил путник.

А потом передумал.

Тут лис и взбесился.

Спасибо — за науку.

...Долго себе кусал пятый хвост, до неба скакал и высокими деревьями оборачивался (есть у него такая привычка: умеет навести морок). Фальшивой луной в небе висел.

Уж насколько, казалось, был лис просветлённый, не первый уже хвост на себе таскал, а тут совсем распоясался. Ибо такая чёрная злоба его душила, что даже ночью случайно кошечку (которая привыкла с ним спать, сирота несчастная) придавил за шею и не отпускал. Пока кошечка со страху не описалась. Только тут и опомнился. Что ж это за любовь такая, что если мне отказали в любви (пусть и пообещав), то я так на бедной животине сублимируюсь? (А дали бы право — и самого виновника не пожалел бы: убить не убил бы, а жизнь испортил бы.)

А вот такая и есть эта любовь... Обычная. Человеческая. Про которую песни поют и стихи пишут. О которой в каждом уютном чёрно-розовом интернет-дневничке мальчики и девочки разного возраста тоскуют и плачутся.

Когда любой человек (в которого ты якобы влюблён) тебе не лис, товарищ и брат, а подспорье, функция и театральный задник. А иначе — откуда это унижение: «отказ от моей любви»? Разве отказавшись от меня, меня можно унижить?

Можно.

—..отчего же так душно? — спросила лиса однажды у одного человека на «Одноклассниках» (есть такой милый человеческий загончик).

— А оттого и душно, — ответил он, — что ты и не ты вовсе, а какой-то крантик в чьей-то судьбе, и это уже невозможно терпеть. Потому что нужно дышать. — Потом помолчал и добавил: — Крантик ведь ещё и потому, что часто тебя не видят тем, кто ты есть на самом деле, — а придумают какой-то образ и живут с ним, А ты ходишь по ночам, куришь на балконе, а она спит, и ей снится, что у нас дети.

Кстати, о детях. Они у нас, кстати, тоже — есть.

4

Мальчик, слыша, как мать смеётся или говорит, всякий раз быстро вскакивал и зажигал огонь...Это у всех домашних вызывало признание его храбрости. Однако его игры стали какими-то непутёвыми.

Целыми днями он изображал каменичку и накладывал на окно кирпич и камни. Его останавливали — не слушался, а если кто-либо уносил хоть один камень, так он катался по полу и капризничал.

Пу Сун Лин. «Рассказы Ляо Чжяя о чудесах».

...Я всё хочу спросить, дорогие мама и папа. А также все остальные мои родители... Я вас звал? Я вас искал? Нет. Я просто бежал по пашне. Все, что я хотел получить (мечтал, надеялся), — не получил. Мышь ускользнула, жаворонок не дался. Вы же ступили на землю, увидели меня и спросили: хочешь быть со мной? — Нет, — честно ответил я. И всё закрутилось.

Вы говорили, что любите меня. Я молчал. Вы говорили, что любите меня всего (но при этом менялись в лице, если я говорил про жаворонка или про мышку, потому что вы видели

меня торговцем или солдатом, но никак не юным натуралистом), я же принимал вас со всеми вашими родственниками и даже старой чужой бабкой. Когда я вернулся в 16 лет с синяком на шее, папа меня ударил. Потому что он знал, что этот синяк не от девочки Ляли. И даже не от тетушки Люси (Бао-дай). И синяк — горел как огонь. И все смотрели на меня косо. И так было всегда.

Иногда я загрызал на летнем отдыхе куру, и меня опять били.

В принципе куру мне было жалко.

Но это было выше меня.

...Вы говорили: любить — это значит любить полностью. А любили — на четвертинку. (Я же, не обременённый любовью, — смотрел на вас зорко и прощал вашу манеру любить кого угодно в моем обличье — кроме меня самого. И даже — по-своему был к вам привязан.)

Иногда я лежал на припёке, свернувшись калачиком, и пытался дотянуться носом под свой воображаемый первый хвост.

Тогда меня уже били всей деревней.

...Каждый из вас имел семью, детей, второго какого-нибудь человека, люди сильно любят иметь двойников, свои половинки, составлять одно целое («...он мне как сиаковский близнец», — говорили вы? Отлично. Можно я заведу такого же? Нет? Я так и думал), я же был всегда — постоянно — третьим.

Поэтому когда мои родители постарели, я не смог уйти от них.

Я тосковал на закате о фальшивой лисьей луне и какой-то не давшей мне лесной любви, вы на закате тосковали обо мне. Вам стоило только протянуть руки — и вот оно, ваше счастье. Мне вообще не нужно было тянуть свои руки и лапы, у меня на руках и лапах были вы, и вы плакали. Если я говорил, что собираюсь уйти от вас, вы плакали громче. Я оставался.

У вас было всё, у меня — ничего. Только терпенье.

Поэтому я ушёл на сто вторую китайскую войну — и там меня наконец-то убили.

— Расскажи мне всё. Мне важна твоя честность. Где ты был на рассвете?

— Кур жрал.

— Не лги мне. Мне это нужно, чтобы я мог жить.

— А мне нужно, чтоб жить, не говорить тебе ничего. Может, если я скажу — я рассыплюсь в дорожную пыль, стану сброшенной мёртвой шкуркой? Так уже было — с одной лягушкой. Всё очень плохо кончилось. Для неё. Почему же твоя жизнь важнее моей?

— Потому что я люблю тебя...Нет, всё равно скажи.

Отлично.

Отлично даже не то, что нам всем невыносима чужая настоящая жизнь (хотя мы и говорим: «Мне главное, чтоб ты был просто честным со мной, я смогу всё пережить», а не можем пережить даже молчания), а то, что даже такую жизнь — при всей её для нас невыносимости — мы хотим у другого отобрать, узурпировать, присвоить. Загнать в наши общие разговоры, обмусолить, исплакать, убить, сделать затхлой (его виной, нашей якобы великодушной, терпеливой мукой). Спрятать в баночку, поставить в подвал, наклеить резиновым клеем этикетку «Его честность 2008, октябрь, перламутровое утро». Вместо того, чтобы просто закрыть на другого человека глаза.

И любить его бескорыстно. Почти не видя.

И кто-то ещё после этого говорит, что можно любить — сильнее?

5

Лиса-оборотень, привлекая чистого сердцем (разделив ложе с ним сразу ещё не источавшим из себя мужской силы, она бы приворожила его к себе и сочеталась с ним брачными узами, чтобы обрести бессмертие), обольстила шайку грабителей, чей старший главарь хотел сделать её своей женой, но та полюбилась и второму главарю, и третьему, и четвёртому, да и многим другим. Они стали

ссориться между собой, никак не могли сговориться и потому решили привязать её к большому дереву, а сами куда-то скрылись. Пять дней и пять ночей терпела она невыносимые муки, будучи верхней частью тела привязанной лианами к стволу огромного дерева, а нижней частью закопанной в землю. В лесу она умерла с голоду через несколько дней, а то и через полмесяца, но после этого душа её благополучно переселилась в царство теней.

У Чень-энь. «Путешествие на Запад».

В самый короткий день в году, в день зимнего солнцестояния, мне исполнится сорок лет.

И у меня нет сил ждать ещё десять, чтобы превратиться в человека.

У меня вообще больше нету сил ни в кого превращаться.

Ни в мальчика, ни в девочку, ни в женщину, ни в мужчину, ни в говорящего с Небесами, ни в старика, ни в учёного. Меня загнали в нору — из которой я могу только скалиться и лаять (впрочем, и лаять я уже не могу, только глухо ворчать оттуда — и защищаться: приседая на задних лапах, мордой к входу в нору, задом к глухой земляной стенке, — защищаться до последнего).

...Когда кицунэ получают девять хвостов, их мех становится серебристым, белым или золотым. Это — просто прекрасно. Это — замечательный выход.

Хочу быть белым, золотым и серебряным.... Серебряным, белым и золотым....

Поэтому давайте считать, что вот эта пыльная грязная тряпочка с девятью хвостами — это мой вам подарок.

На шапку.

А чё? По-моему, вам идёт.